

Автор, в чине капитана, в 1907 — 1910 г.г. на службе у ген. Ренненкампфа в Вильне.

Генерал В. Н. фон Дрейер

НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ

Издание автора
Мадрид
1965

Número de Registro 7442-65
Depósito Legal M. 17782.—1965.

Imp. R. T. Suc. de Galo Sáez, Mesón de Paños, 6, Madrid

Жене моей и дочери

ПОСВЯЩАЮ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В один из зимних вечеров, изнывая в одиночестве на американской ферме моей дочери, вдали от Ныо-Иорка, когда кругом бушевала снежная буря, греясь возле камина, я предался воспоминаниям прожитой долгой жизни и совершенно непроизвольно взялся за перо.

Работа меня увлекла; и в течение нескольких месяцев, до возвращения в Париж, я продолжал писать; получилось нечто вроде мемуаров.

Сверстников моих — к сожалению, их осталось немного, — книга моя несомненно заинтересует; а нынешнее поколение увидит как жилось в доброе старое время на Руси, на далекой окрайне государства Российского, какие были люди, порядки, как учились, служили, забавлялись и воевали.

Читатель простит мне, если наряду с изложением серьезных событий и фактов, я ввел в свои воспоминания, местами, игривый элемент. Полагаю, что всякая серьезная проза делает содержание, даже талантливо написанной книги, утомительным и скучным.

ЮНЫЕ ГОДЫ. КОРПУС

В 1887 году для уроженцев Туркестанского Края, детей военных, в городе Оренбурге был открыт новый кадетский корпус, — 2-ой Оренбургский, — превращенный из военной прогимназии, и занял то же огромное здание на берегу реки Урал, впадающей в Каспийское море.

Кроме нового корпуса в Оренбурге существовал другой — Неплюевский, основанный в 1828 году Императором Николаем I.

В этот новый корпус меня и отправили мои родители за 2.000 верст от Ташкента, где я родился. Отец, капитан артиллерии, прикомандированный к дипломатической миссии при Эмире Бухарском, за свой острый язык остался за штатом; денег не было, чтобы меня учить в Ташкентской гимназии, где я прошел приготовительный и первый классы. Между прочим, в этой же гимназии учился и Керенский, будущий Верховный Главнокомандующий, приезжавший, будучи студентом, на каникулы к своим родителям и бегавший за ташкентскими гимназистками. Семья Керенских, весьма почтенная, жила довольно широко; отец — попечитель народных училищ целого края; мать — умная, образованная женщина; и наконец сестра — Неточка, местная гимназистка, вышедшая вскоре по окончании гимназии замуж за адъютанта Генерал-Губернатора штабс-ротмистра Алферьева.

Генерал-Губернатором и Командующим войсками Туркестанского края и всей Закаспийской области в последние годы конца прошлого века был барон Вревский. Говорили совершенно серьезно, что Лев Толстой списал портрет Вронского с барона Вревского. Этот, почти «Наместник» огромной территории, жил довольно замкнуто в великолепном генерал-губернаторском дворце со своей племянницей и ее гувернанткой, жилистой и не очень красивой англичанкой мисс Хор, управлявшей домом и. кажется, самим Вревским.

На Новый Год и в день тезоименитства Государя к Генерал-Губернатору приезжал со свитой Эмир Бухарский с подарками и наградами, в виде звезд и шелковых халатов для ближайших сотрудников Генерал-Губернатора, а англичанку мисс Хор являлись поздравлять ташкентские дамы.

Халаты раздавались от одного до дюжины, в зависимости от ранга губернаторских чиновников, которые продавали их, по желанию, лицам свиты Эмира по выработанному тарифу. А для мисс Хор визитерши привозили цветы и конфеты.

***

2-й Оренбургский кадетский корпус, куда меня привезли в 1887 году и где я прошел в течение семи лет свое первоначальное образование и воспитание, был создан по тому же образу и подобию, как и все прочие корпуса, за исключением одного Пажеского. В нас основательно вбивали воинский дух; все мы горячо были преданы нашему Государю, зачитывались подвигами национальных героев, особенно Скобелева, адмиралов Нахимова, Корнилова. На стенах большой залы висели портреты Суворова, Кутузова, всех героев Отечественной войны. Книги, как например, «Белый Генерал» Немировича-Данченко, «Тарас Бульба» Гоголя, читались по много раз.

Воспитатели, в большинстве армейские офицеры, не все были специалистами в деле воспитания детей и юношей кадет, редко разбирались и считались со свойствами характера каждого мальчика. Многое было построено по шаблону, далеко не всех воспитателей любили, но за других стояли горой.

Припоминаю одного, штаб-ротмистра Любарского, равнодушного, апатичного, толстяка, очень доброго, с трудом справлявшегося с сотней подростков на своем дежурстве.

Барабанщик бьет строиться к обеду, или вечернему чаю; кадеты не торопясь выходят из своих классов в залу; порядка нет, кричат, спорят, переругиваются. Любарский стоит смотрит и время от времени произносит: «поговорите, поговорите, а я подожду». Проходит пять, десять минут, иногда четверть часа, наконец получается нечто вроде строя и Любарский ведет роту в столовую, где болтовня и шум не прекращаются.

Совершенно другая картина при воспитателе Энвальде.

Маленький, лысый, очень способный, хороший чтец, великолепный рассказчик и актер на любительских спектаклях, этот Евгений Васильевич Энвальд за малейшую шалость наказывал беспощадно. И на его дежурстве с десяток кадет часами стояли у печки, а в строю, выравненные в струнку, боялись дышать. И все это делалось без всякого крику; а взглянет этак из подлобья и не громко скомандует: «смирно, равняйсь», и через несколько секунд наступала гробовая тишина и рота была выровнена как на параде.

Но за то когда в 1918 году вооруженные большевики явились в корпус, чтобы арестовать офицеров, то 13-14 летние мальчуганы тоже схватили ружья в первой роте и своих любимых воспитателей Дудыря и Любарского решили не выдавать.

Большевики не постеснялись перестрелять несколько мальчишек, и на глазах кадет прикончили обоих воспитателей.

Программа обучения в кадетских корпусах приближалась ближе всего к программе реальных училищ. Главное внимание обращалось на математику; из иностранных языков проходили французский и немецкий.

Преподаватели хорошо знали свой предмет, но далеко не все умели привить свои знания кадетам. По языкам требовалось, главным образом, знание грамматики и усвоение бесчисленного количества слов. В итоге пятилетнего обучения иностранным языкам, при выходе из корпуса, мы кое как читали à livre ouvert, но не могли составить правильно и двух фраз.

Француз Жагмен, молодой человек, отлично говоривший по-русски, спросив у нескольких кадет заданный урок, немедленно переходил на личные воспоминания и анекдоты. Рассказывал все это по-русски, в классе царило веселое настроение, француза всячески поощряли, просили рассказать еще и еще, он увлекался, начинал уже врать и хвастать, пока не раздавался звонок об окончании урока.

Почти то же было и с немцем Гиргенсоном. Заставив нас вызубрить кое-какие стихи из Шиллера по-немецки, спросив нескольких учеников урок, немец задавал выучить новые стихи, в добавок к грамматике, и эти стихи тут же переводил на русский язык, и также в стихотворной форме. Приняв соответственную позу, заложив руку за борт форменного сюртука, Гиргенсон декламировал:

«Есть колодец, в том колодце есть чьюдесных два ведрэ
Одно вверх идъет, другое опускается на дно.
Оба разом влагой чьюдной нас не могут услаждайть
Ви не можете ли сразу эти ведрэ мне назвайть.»

Стихотворение называлось «День и Ночь».

Русский язык преподавал в трех старших классах, — пятом, шестом и седьмом, некий Антоненко. Не смотря на фамилию, в нем ничего не было малороссийского, в отличие от математика Ильи Фомича Горского, — типичного украинца.

Скромный, очень доброжелательный, Антоненко учительствовал также в женском институте благородных девиц. Мы заставляли его краснеть, спрашивая пользуется ли он успехом у оренбургских институток; и часто, когда он проходил между партами, объясняя следующий урок, или устраивая диктовку, совали ему незаметно в карманы форменного фрака записки знакомым институткам.

Дочери туркестанских офицеров и военных чиновников каждый год, как и мы, уезжали на каникулы; очень часто путешествие это по Волге, Каспийскому морю и затем, по вновь открытой Закаспийской военной дороге, совершали вместе.

В пути знакомились, влюблялись. Затем уже на каникулах встречались, танцовали и, по возвращении в корпус, виделись на балах в корпусе или в институте, во время Рождественских праздников.

Каникулы, с середины мая по конец августа, были самым счастливым временем для каждого из нас. До открытия Закаспийской дороги в 1890 году, построенной в рекордный срок по сыпучим пескам пустыни, через Бухару до Самарканда, военным инженером Анненковым, оренбургские кадеты ездили к родным в Туркестан на почтовых лошадях. Почтовая дорога — почтовый тракт — шла из Оренбурга на Орск, населенный, оренбургскими казаками; далее — через «Голодную степь» на Игриз, Казалинск, Перовск, возле Аральского моря, и затем через города Туркестан и Чимкент до Ташкента, всего протяжением в 2.000 верст. На всем этом простанстве было около 90 почтовых станций; на каждой содержалось от пяти до восьми троек лошадей и до десяти тарантасов. Через «Голодную степь», по сыпучим пескам, на протяжении около 300 верст, в экипаж впрягались верблюды.

Вся эта длинная дорога была оборудована на свой счет

купцом Ивановым, жившим в Ташкенте; государство платило ему за ее содержание известную сумму.

Путешествие, как говорилось, на «перекладных» длилось около 10-11 дней, но при удаче можно было его сделать и в девять. Ехали обыкновенно днем и ночью; и приехав на станцию, бросались немедленно к старосте и, прежде чем просить лошадей и тарантас, говорили: «староста нельзя ли самоварчик.»

Без этого самоварчика, ценою в 20-25 копеек, составлявшего доход к мизерному жалованию станционного смотрителя, лошадей получить было нельзя. Как правило свободных лошадей у старосты не было; но получив двугривенный, он их все же находил.

Чай пили или не пили, но лошади запрягались, вещи перекладывались в другой тарантас, ямщик киргиз усаживался на козлы, двое других киргизов с трудом сдерживали полудиких пристяжек, путешественники быстро влезали, староста произносил: «с Богом», и тройка, рванув, неслась карьером по степи.

Промчавшись верст 5-6 и утомившись, лошади переходили на спокойную рысь. Чем ближе путешественники кадеты приближались к родному дому, от которого были оторваны около года, а иногда и двух лет, как было со мной, в мои первые каникулы, тем сладостнее замирало сердце.

Но вот на 10-ый день показались глинобитные стены сартовского кишлака (поселка), предместья Ташкента; повеяло чем то родным, хотелось и плакать и смеяться, и ожидание, что вот через несколько часов увидишь свою мать, свой дом, сад, арыки, наполняли грудь радостью и счастьем.

Но уже с 1890 года оренбургские кадеты и барышни институтки стали ездить на каникулы по открытой для движения Закаспийской жел. дороге. Путешествие до Ташкента тянулось тоже 10 дней, но оно было настолько интересно и разнообразно, что являлось как бы вторыми каникулами. Проехав в течение полу-суток по железной дороге из Оренбурга в Самару, мы садились там на великолепный пароход общества «Кавказ и Меркурий».

Три дня плыли по Волге до Астрахани, там пересаживались на не очень комфортабельную шхуну, и через четверо суток через Дербент, Перовск и Баку добирались по Каспийскому, всегда бурному морю, в Узун-Ада, откуда начиналась

Закаспийская жел. дорога. Путешествие проходило весело и разнообразно.

Волжские пароходы останавливались в Сызране, Саратове, Камышине, Царицыне; мы пускались на пристани и бросались к торговкам, продававшим всякую снедь. На пароходе еда была не дорогая и входила в стоимость билета для пассажиров третьего класса, но на берегу все стоило буквально гроши: за десяток громадных раков платили пятачек; вобла стоила копейку; столько же стоили небольшие арбузы в Камышине, когда мы возвращались в августе в корпус.

Путешествие по морю было менее приятным, особенно для тех, кто страдал морской болезнью. Шхуну трепало во все стороны; мы крепились, оставаясь день и ночь на палубе, обдаваемые соленой пеной и ветром, закутавшись в свои шинели. Надо было подавать пример ехавшим с нами институткам.

В спокойную погоду пели на палубе:

«Нелюдимо наше море
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе
Много бед погребено».

Смотрели влюбленными глазами на институток, у каждого была уже своя «симпатия», флиртовали и, если удавалось, украдкой целовались.

Последние три дня ехали, изнывая от тропической жары, по жел. дороге до Самарканда, чудесного города, утопавшего в садах, где в средние века Тамерлан устроил свою столицу.

Два с половиной месяца, проведенные в родной семье, проходили быстро, как один день, и в середине августа мы той же дорогой возвращались в корпус, нагруженные фисташками, кишмишем, сухим урюком и прочим азиатским «дастарханом».

***

При открытии 2-го Оренбургского корпуса в нем было только два класса — приготовительный и первый. Каждый год по мере перехода нас кадет первого класса в следующий,

открывался новый, сперва второй, затем третий и в 1893 году — последний седьмой.

Начиная с шестого класса, каникулы наши сокращались вдвое, и в лагере, — в 7 верстах от города, куда на лето отправлялись кадеты, не уехавшие к себе домой, нас начали обучать строевой службе с ружьями. Жили мы в деревянных бараках, выстроенных в степи, где не было никакой растительности, кроме выжженой травы, но вблизи, верстах в двух, росла большая роща и внизу в долине текла бурная полноводная река Сакмара, куда нас водили почти ежедневно купаться. Верстах в десяти от нашего лагеря находилось село Берды, где Пугачев, когда пытался овладеть Оренбургом, устроил свою ставку.

По окончании корпуса, вернувшись с коротких каникул 25-го августа в Оренбург, мы стали готовиться к отъезду в училища. Большая часть должна была ехать в Петербург, где находилось пять военных училищ, другие кадеты предпочли Московское Александровское училище, где в те годы обучался писатель Куприн.

Повез нас вместе с выпускными кадетами Неплюевского корпуса, командир роты этого корпуса полковник Воробьев, бывший гвардеец; позже, в чине генерал-лейтенанта, отличившийся на Кавказском фронте в боях против турок, в первую мировую войну.

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Не имея ни малейшего пристрастия к математическим наукам, я кончил корпус со средним баллом и поступил в Павловское пехотное училище.

Для кавалерийского, и для дальнейшей службы в кавалерии, нужны были кое-какие личные средства; отец полковник ими не располагал.

Павловское училище, основанное Императором Павлом, находилось на Петербургской стороне и считалось во всей России самым строгим по своей дисциплине и обучению строевой службе. За то молодые офицеры, выпущенные из него в полки, сразу чувствовали под собой почву, и без всякой подготовки со стороны старших, переходили на роль учителей и начальников солдат.

Юнкера двух артиллерийских училищ и инженерного

считали себя более привилегированными, ибо поступали туда кадеты с более высокими баллами, и потому на «павлонов» смотрели несколько свысока и называли нас «м... — звонами, веселая м..., пехота не пыли».

**
*

Не прошло и недели со времени приезда в училище, как на плацу началась муштровка: маршировка гусиным шагом под барабан, отдание чести, ружейные приемы.

В дождь эти занятия производились часами в ротных коридорах.

В ротах полагалось по два курсовых офицера и ротный командир в чине капитана В І-ой роте — роте Его Величества, — куда попадали юнкера большого роста, носившие кличку «жеребцы», ротным командиром в мое время был Гвардии Измайловского полка Герцык, по провищу — «Дрюк».

— «Я Вас, батенька мой вздрючу», можно было слышать постоянно, как только Герцык приходил в роту. И действительно, за малейший проступок, за неправильно повешенное полотенце или бескозырку, за шевеление в строю, плохое отдание чести, полагался карцер на сутки и больше.

Были юнкера, помню одного такого по фамилии Дубинский, который провел 90 дней под арестом в течение двухлетнего пребывания в училище.

Однако Герцык этот, не смотря на его строгость, пользовался уважением, был справедлив и случалось, будучи сам подвержен культу Бахуса, старался не замечать, что юнкер вернулся в 12 часов ночи, но точно в 12 пошатывался, рапортуя. За пьянство полагалось, обычно, переводить в третий разряд, а это было самое суровое наказание.

Многих училищных офицеров, особенно придирчивых, как например младшего брата Герцыка, по прозвищу «Дрючек», не любили и как только можно всячески изводили.

Особенно это практиковалось при выпуске в офицеры в Красносельском лагере, после того как Государь поздравлял старший курс с производством в подпоручики. Нелюбимым офицерам тотчас же устраивали «бенефис», и они поспешно, прямо с поля, спасались бегством на вокзал, и в Петербург.

Настоящей грозой училища в мое время был его начальник генерал-лейтенант Дембовский, он же — «Дембач».

Его боялись все: юнкера, офицеры и даже старики музыканты, по прозванию «пески».

Неизменно грубый, он не стеснялся в выражениях. Посещая лазарет и обходя юнкеров, получивших венерические болезни, Дембач обращался к юнкеру и рычал: «Сколько раз я вас всех предупреждал: пошел к девке, сделал свое дело и сейчас же надо было п..., тогда не было бы т...»

Сурова была дисциплина училища, но мы его все же любили. К офицерам, не смотря на их строгость, за редким исключением, не питали никакой неприязни. Развлечений для юнкеров в стенах училища почти не устраивалось; спорт в те времена в России был не в моде, и только раз в год юнкерам давался бал с правом приглашать своих знакомых барышень.

Ходил анекдот, передававшийся из года в год. К юнкеру подходит знакомая девица: «что же Вы Петя все стоите и не танцуете».

«Черт ли в танцах, будь тверд по фронту» басит павлон Петя, закручивая пробивающийся ус.

По вечерам, те кто не «зубрили», развлекались в шинельной комнате, играя в «блошки»; карт не было, и никто даже тайком в них не играл. Любители выпить пробирались в музыкальную комнату, в складчину покупали водку и хлестали ее, или отвратительный Сараджевский коньяк; закусывали кильками, вытаскивая их прямо пальцами.

По вечерам зимой в роты приходил симпатичный, скромный старожил училища ламповщик, зажигать керосиновые лампы; — ни электричества, ни газа в те далекие времена Павловское училище еще не завело. Ламповщика тотчас же окружали и просили спеть что нибудь.

«Николай Иванович — это была его кличка, неизвестно почему — спойте», говорил кто нибудь из «подпоручиков» — юнкер старшего курса; младшие — «козероги» — права вмешательства не имели.

— Господин подпоручик — жалобно говорил «Николай Иванович» — вы же видите мне некогда, я еще не был во второй роте.

— Пойте е. в. м. кричал юнкер Ситников.

И бедного ламповщика тащили, ставили на скамейку и он, привыкший годами к этому издевательству, повидимому не без удовольствия, начинал:

«Сели девки на лужок, поймали да зайца,
Посадили на песок, вырезали... хи-хи-хи...»

После чего его отпускали с миром; он шел в другие роты и там снова должен был повторять свою несложную программу. Так развлекались будущие, без пяти минут, офицеры.

В отличие от кадетских корпусов, в военных училищах практиковалась репетиционная система обучения наукам; и, вместо уроков, преподаватели, — почти все военные, — в большинстве офицеры генерального штаба, — читали лекции. Учиться было не трудно; менее способные помогали себе заранее заготовленными шпаргалками и, стоя у доски и готовясь к ответу, вытаскивали их из рукава мундира.

Вспоминаю мало способного и глуповатого юнкера Бетковского. Этот юноша на репетиции артиллерии начертил, неправильно держа шпаргалку, лафет крепостной пушки вверх ногами, к общему восторгу юнкеров и ужасу профессора генерала Потоцкого.

К репетициям, — их было две в неделю — готовились по вечерам в корридоре, примыкавшем к дортуару, или же зубрили на лекциях, вместо того, чтобы слушать профессоров.

Главными предметами считались: тактика, фортификация, военная история, топография, администрация, артиллерия, устав гарнизонной службы; причем уставам обучали вне классов курсовые офицеры. На втором месте стояли: механика, химия, русский язык.

Старика «химика» — полковника Богданова, производившего опыты с газами, часто приводили в бешенство, когда отравив воздух каким-то чесночным газом, он заканчивал лекцию и торопился уйти, ему кричали:

«Господин полковник, покажите еще фокус».

Как бы хорошо юнкер ни учился, однако если он не был «тверд по фронту»: не имел воинской выправки, плохо отдавал честь, скверно делал ружейные приемы, неважно маршировал, он не мог рассчитывать получить повышение по службе, то есть быть произведенным на старшем курсе в портупей-юнкера. Серьезные проступки карались переводом в третий разряд, что при выпуске лишало юнкера производства в подпоручики.

Летом 1896 года рота Его Величества была отправлена в Москву на коронацию Государя Николая II, для участия в

параде и для несения почетных караулов в Грановитой Палате. В течение месяца мы жили в здании Александровского военного училища и там на плацу нас начали ежедневно муштровать, «набивали ногу», добивались равнения и дружного ответа на приветствие царя. Для александровских юнкеров, глазевших из всех окон, наши репетиции были настоящим представлением в цирке: такая м... не была в традициях Александровского училища.

По окончании коронации, и перед отъездом из Москвы, начальник училища решил повезти на юнкеров, в сопровождении офицеров роты и преподавателя военной истории, капитана Генерального Штаба Евгения Новицкого, на Бородинское поле сражения.

Жара в те дни стояла тропическая. Выехав рано утром из Москвы, мы к полудню со станции Бородино входили строем в женский Тучков монастырь, расположенный возле развалин редута имени генерала Тучкова, героя Отечественной войны.

Встретила нас сама мать-игуменья. «Дембач», а затем ротный командир Герцык, а за ним курсовой офицер Ципович подошли под благословение. Всех пригласили к трапезе в большую монастырскую столовую; прислуживали монашки, и юнкера оживились. Но едва кончили завтрак и пропели молитву, как нас повели осматривать позиции знаменитого боя. В начале все было интересно и занимательно, Евгений Новицкий увлекательно рисовал картину сражения на различных участках Бородина, но, по мере того как жара становилась все невыносимее, интерес к его лекции падал; юнкера стали постепенно отставать, и когда половина роты дотащилась к вечеру до Шевардинского редута, любителей военной истории осталось меньше половины.

«Дембач», велел выстроить юнкеров, чтобы вести обратно, и увидя, что ряды их сильно поредели, пришел в негодование.

Отставшие юнкера, между тем, отлично проводили время в тени деревьев монастыря, окна которого, где жили монашки, выходили в сторону рва знаменитого редута. Молодые монахини, впервые увидевшие здоровенных «жеребцов» Царской роты, увлеклись и хотя были ограждены железными решетками окон, повели самый отчаянный флирт. Началось с разговоров, продолжалось бросанием цветов, кончилось воздушными поцелуями.

Но появился грозный «Дембач» с уцелевшими на поле

сражения бойцами и тут началась буря. Всех отставших выстроили отдельно, и Начальник училища обратился к ним с речью:

— Я не нахожу слов, такие-сякие, чтобы заклеймить ваш поступок. Здесь, где каждый шаг земли на пол аршина напоен кровью русского солдата, вы ушли с поля битвы, чтобы возиться с бабами; до конца лагерного сбора вы все будете оставлены без отпуска и ни один из юнкеров старшего круса не увидит портупей-юнкерских нашивок.

Через несколько дней рота Его Величества вернулась в Красносельский лагерь и наказание любителям «клубнички» вошло в силу. Но подходило время производства в офицеры и наказание не показалось тяжелым.

ТУРКЕСТАН. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА

Кажется никогда в жизни так радостно не билось сердце, как в тот день 12 августа 1896 года, когда, вернувшись строем из Красного Села на Спасскую улицу в свое училище, я облачился в форму подпоручика 8 артиллерийской бригады. Отец и мать в это время были в Петербурге, приехав из Ташкента на мое производство, дабы затем посетить Нижегородскую выставку.

Кончив хорошо училище, я воспользовался правом взять артиллерийскую вакансию, и пробыв около месяца в городе Пултуске — жалком польском городишке, где стояла бригада, был вскоре переведен в Ташкент, для совместной службы с отцом.

Для нас, уроженцев Туркестана, казалось, что на всем земном шаре не существовало подобного рая. Так мы любили свой край, его заброшенность за 2.000 верст почтовой дороги от первого большого европейского города — Оренбурга, его климат, несложные развлечения, балы в военном собрании, где танцовали и потом ужинали в саду, среди аромата цветов и белых акаций.

4-х летняя служба в Туркестанской артиллерийской бригаде не тяготила. Солдатам, несмотря на их 5-летнюю службу, жилось также хорошо. Кормили их на убой, в каждой батарее были летом свои огороды; зимой на праздники устраивались солдатские спектакли.

В те далекие времена службы на окрайнах, многие офи-

церы, к сожалению, спивались. В Ташкенте, где все же было большое общество и часто наезжали гостролирующие труппы то театра, то цирка, таких пьяниц встречалось немного. Моя батарея в этом отношении была менее благополучна.

Командир, Илья Михаилович Окунев — Ила как его называли, — громадного роста, весом в 120-130 кило, добряк, не способный убить и мухи, службу нес исправно, но только до 12 часов дня. В полдень кашевары приносили «пробу» в канцелярию, где мы четверо — он, заведующий хозяйством капитан Кислицкий, всегда в грязном, залитом на груди салом сюртуке, старший офицер капитан Старов и я основательно наедались щами с мясом, и жирной рисовой кашей. После чего Ила Окунев, стесняясь, подходил к Кислицкому и негромким голосом говорил:

— Михаил Павлович, дайте мне пять рублей.

Кислицкий, милый и очень добрый человек, поднимал на него удивленный взор.

— Илья Михаилович, ведь я же вчера Вам дал пять рублей.

Но все жо открывал кошелек, и золотая, монета моментально исчезала в широченной ладони командира.

Сразу повеселев, Илья Михайлович, выходил на крыльцо и радостным голосом кричал на весь плац:

— Полещук, запрягай!

Командирская коляска — коренник с пристяжкой — давно уже дожидалась запряженная у конюшни, и Полещук лихо подкатывал к канцелярии.

Ила садился и, уезжая, предупреждал:

— В четыре часа я приеду на учение у орудий.

В это время приятели и собутыльники уже завтракали, пили водку и пиво в военном собрании, куда к часу дня приезжал наш командир, и откуда его увозил Полещук прямо домой в 12 ночи. Кучер понимал, что его командир в батарею не поедет, поэтому распрягал, водил лошадей на водопой, там же их кормил из торбы овсом, а как и чем питался сам, никто не знал.

Обучение батареи вели мы двое: я по конской части, капитан Старов по чисто артиллерийской.

Знаток своего дела, прекрасный офицер, отлично стрелявший на военном полигоне летом, что очень ценилось, Старов был настоящий запойный пьяница. Подобно ему, таким же пьяницей был в батарее и старший сверхсрочный писарь Кривоусов, непревзойденный знаток канцелярии и

всех инструкций и законов, касавшихся батарейного, очень сложного хозяйства. Во всей бригаде, не считая и офицеров, никто не знал так делопроизводства, как этот пьяница писарь. Оба они, и Старов и Кривоусов, напивались примерно раз в два или три месяца, но тянулся этот запой с неделю, не меньше.

У каждого из них он происходил по разному. Старов продолжал ходить осоловевший на службу, придираясь к каждому слову, лез на скандал, хлестал по лицу не понравившегося ему почему либо встретившегося солдата; за столом ничего не ел, а только пил.

Помню в лагере, в 30 верстах от города, куда батарея выходила на стрельбу и лагерные сборы, прибегает ко мне мой деньщик и, смеясь, говорит:

— Ваше Благородие, капитан Старов пришли в наш барак и хотели нас бить, так я насилу от них сиганул, а Показий достал по морде.

Кончил, бедный Старов, плохо. В 1899 году, по окончании маневров, в присутствии помощника командующего войсками генерала Мациевского, был устроен офицерский завтрак для командиров отдельных частей и старших офицеров. По установленному обычаю, к концу завтрака начали произноситься речи.

И. М. Окунев, как носивший значек военно-юридической академии, считал себя природным оратором, и хотя говорил много и нудно, тем не менее никогда себе в этом удовольствии не отказывал. На этом же завтраке, в конце стола, по чину, сидел и наш Старов с непрошедшим еще к концу маневров запоем.

Ила Окунев встал, погладил себя по животу и запел:

«Ваше Превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим»...

Вдруг с конца стола, выпучив оловянные глаза на своего командира, Старов отчетливо произносит два слова, заставившие оратора остановиться, а собрание затаить дыхание:

— К чорту!

Опомнившись, все зашевелились, зашикали, Мациевский покраснел; тогда Окунев, уже громче, снова начал свою речь: «Ваше Превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим»... и тотчат же с другого конца последовало:

— К чорту!

Начался скандал, Старова вывели, немедленно отправили домой, а затем велели подать в отставку *.

У писаря Кривоусова — он был женат — запой проходил по иному. Он запирался дома (в Туркестане солдатам разрешалось привозить своих жен) тянул четверть за четвертью водку, никуда не выходил и только пел печальные, песни, больше церковного напева.

Иногда заставлял свою жену ложиться на стол, ходил вокруг нее, как вокруг покойника, кадил пустой четвертью и часами пел «со святыми упокой».

Пытались его вылечить. Посадили однажды в казарму и заперли в отдельную комнату. Он высадил всю раму и чуть не сломал себе ноги, выпрыгнув с высоты трех метров. И все же его терпели и держали, настолько в нормальном состоянии это был незаменимый человек.

***

Жизнь моя, молодого офицера Туркестанской артиллерийской бригады, протекала весело и беззаботно, служба была легка и приятна, начальство не притесняло. Отец занимал в то время, в чине полковника, должность правителя дел туркестанского артиллерийского управления, и считался вторым лицом после начальника артиллерии округа.

Единственный сын, я жил в своей семье, не знал никаких расходов, большую часть 55 рублевого жалования тратил на экипировку, чтобы не отставать от щеголей адъютантов туркестанского генерал-губернатора.

Но встречая часто в собрании офицеров генерального штаба, молодых, с обеспеченной военной карьерой, я с завистью смотрел на них, на их серебрянные аксельбанты, академический значек, и уже на втором году службы решил готовиться в Академию.

Достав академическую программу, я пришел в смущение, увидев, что математике там отведено весьма почтенное место, — науке, которую я презирал и в корпусе и в воен-

---

* Если бы Старов в действительности ограничился словом чорт, а не произнес совершенно нецензурное слово, то это не привело бы к его отставке. Все отразилось бы на его аттестации и окончилось бы строгим выговором.

ном училище. Поэтому, отложив алгебру и геометрию на конец подготовки, я начал с языков.

Приятелем и довольно частым собутыльником моего отца, когда он после занятий у себя в Управлении отправлялся иногда в клуб — военное собрание — завтракать и играть на биллиарде, приятелем этим с давних лет состоял француз Стифель.

Рафаил Рафаилович Стифель был известен в целом городе, как говорится, каждой собаке. Появившись в крае в 80 годах, вскоре после завоевания Ташкента Черняевым, Стифель в качестве коми-вояжера исколесил на почтовых весь Туркестан. Говорят, что он продавал подтяжки, духи, принадлежности дамского туалета, и в конце концов окончательно застрял в Ташкенте, где обрусел и крестился по православному обряду.

Не высокого роста, смуглый, с солидным брюшком, всегда веселый, жизнерадостный, очень вежливый, интересный собеседник, он знал решительно все, что творилось в городе. Ни одна новость, ни одно событие и сплетня не могли укрыться от француза Стифеля.

Этот «Бобчинский», принятый в лучших домах Ташкентского общества, целый день бегал от одних знакомых к другим, его с удовольствем кормили обедом, вечером ужином, и оставляли играть в винт. Он жил уроками, брал один рубль в час, но сидел за те же деньги два — три, если ученик ему нравился. К деньгам Стифель был довольно равнодушен, тратил их, главным образом, на свои костюмы и галстухи — это была его слабость. Никто никогда не видел, чтобы он ухаживал за дамами, не числился ничьим поклонником, за то все знали, что он, подобно Генриху IУ, неравнодушен к простым бабам и прачкам. Иногда, по секрету сообщал какое чудесное белье носит красавица, бывшая некогда фавориткой Вел. Князя Николая Константиновича, — он видел это белье у своей прачки, развешенным на веревке. Летом Стифель щеголял в чесучевом костюме и всегда в новом галстухе, с цветком в петлице.

Георгий Павлович Федоров — правитель канцелярии генерал-губернатора, — любивший блеснуть французским языком, увидя однажды в клубе Стифеля, радостно заржал, и очень громко вскрикнул: Sacrebleu, cré nom de nom, de nom d'un chien, Рафаил, quelle formidable couleur de bordeaux!", чем привел того в восторг.

Стифел очень любил моего отца, человека большой эру-

диции, незаменимого собеседника, и с удовольствием повторял всюду его bons mots. Как то позавтракав вдвоем в собрании, выпив водки и пива, Стифель разошелся и решил «поставить флакон» шампанского. Отец не остался в долгу, велел подать вторую бутылку и очень серьезно произнес:

— Я думаю, Рафаил, что нам грешно обижать старика Редерера; после чего — последовали еще две.

Целая плеяда офицеров туркестанцев окончивших различные академии, были обязаны этому французу, обучившему их его родному языку.

С осени 1897 года Рафаил Рафаилович принялся за меня. Я оказался довольно хорошим учеником и через 1/2 года уже мог немного объясняться, а через год свободно говорить. Учитель был страшно горд моими успехами и постоянно говорил, что я и Корнилов его самые способные ученики. Будущий Верховный Главнокомандующий Лавр Георгиевич Корнилов, офицер той же Туркестанской бригады, за 3 года перед этим уехал в Академию, а в 1898 году, окончив ее первым с медалью, вернулся в Туркестан в Штаб Округа.

Как я говорил, Стифель не считался со временем, особенно, если уроки начинались перед обедом или в ожидании обеда; — у нас в то время в Туркестане обедали в час или два дня и завтраков не было. Обучение проходило легко, и чем больше я усваивал la finesse de la langue française, тем веселее протекали уроки.

Рафаил без ума любил Францию, особенно Париж, где в его время увлекались оперетками Оффенбаха.

Он приходил в раж от воспоминаний, и почти не было урока, чтобы он не пел и не пританцовывал. В оперетке Лекока: "La fille de Mme.Angot", толстый Стифель, вспотевший от волнения, поднимался на цыпочки и приставив ладони трубочкой ко рту, надрывался:

"Pas begueule, forte et gueule, telle était Madame Angot.".

«Герцогиня Герольштейнская» изображалась иначе: Рафаил раскачивался и тянул петухом: "Voici le sabre, le sabre, le sabre... de mon papa", и закатывался смехом, вспоминая, что в парижском театре Вариете, Жюдик всегда нарочно так пела; надо было сказать: "Le sabre de mon père", т. е. наследственная сабля, а не папашина.

Продолжая брать уроки французского языка, я постепенно принялся за всю программу, причем обнаружил, что

математика, если мне в юности и не давалась, то только потому, что я не усвоил основных начальных правил.

⁂

До поступления в Академию, полагалось при штабах каждого военного округа, т. е. Петербургского, Московского, и т. д., до самого отдаленного — а их в прежней России было тринадцать — держать предварительный экзамен.

Весной 1900 года, в Ташкент съехались на экзамен со всего Туркестанского края 12 молодых офицеров всех родов оружия. Испытания производили офицеры генерального штаба, в большинстве молодежь не забывшая наук, и производили их довольно строго. Из 12 кандидатов, получивших право ехать в Петербург, оказалось всего четверо, и я в том числе.

Сделав одну из больших глупостей моей жизни, я в день отъезда в Академию, 1 июля 1900 года женился, и хотя это был брак по любви, я в 23 года далеко еще не отвык от беззаботной холостой жизни. Особенно это отразилось в первый же год нашего пребывания в Петербурге, где мой богатый и холостой дядюшка Николай, кутила и весельчак, стал меня возить по дорогим ресторанам, кафе-шантанам и увеселительным заведениям.

АКАДЕМИЯ.

Николаевская Академия Генерального Штаба — давшая России не мало талантливых офицеров, находилась в 1900 году еще в старом здании, на набережной Невы, возле Николаевского моста. Новое, на Песках, в тот год заканчивали строить.

Нас, будущих «моментов», со всех концев необъятной матушки России, приехало 360 человек, а в стены храма военной науки вошло только 160. Прочие, неудачники, получили обратные прогоны и отправились огорченные в свои части.

Экзамены были не труднее, чем при округе, но требовалась удача, самоуверенность при ответе, и знание уловок каждого профессора.

По французскому языку экзаменовали двое, один из них

по фамилии Дюлу блестящий молодой человек, одетый с иголочки, состоял профессором в пажеском корпусе, в Александровском лицее и, кажется, в Екатерининском Институте благородных девиц, где пользовался большим успехом. Оперетки с пением и танцами моего друга Рафаила и некоторое знание «арго» мне очень помогли; Дюлу мне сделал несколько комплиментов и поставил полный балл. Свою педагогическую карьеру красавец француз окончил трагически, на Сибирской каторге, два или три года спустя. У него оказалось пристрастие к слишком молодым девицам и это его погубило.

Особенно строгие экзамены были по русскому языку; здесь требовалось основательное знание правописания по Гроту, и затем — по математике, где два старика профессора Цингер и Шарнгорст, резали без сожаления.

Сделавшись слушателями Академии Генерального Штаба, мы скоро познакомились друг с другом и, разделенные на группы для тактических задач, — а это был главный предмет нашего обучения, — приступили к слушанию лекций.

Вскоре обнаружилось, что большинство профессоров читали наизусть, по написанным им учебникам; поэтому многие из нас не считали интересным посещение лекций, — и хотя это было обязательно, проводили время дома, а товарищи за них расписывались в особой книге. Изредка курсовой офицер производил поверку, и тех, кто не оказывался на лицо, отправляли на Петербургскую гауптвахту. Сутки пришлось отсидеть и мне.

Практические занятия по тактике, два раза в неделю, являлись делом серьезным и не приходить на них не рекомендовалось.

Курс младшего класса состоял, главным образом, из истории военного искусства, тактики, геодезии, русского языка, администрации, статистики, артиллерии и ситуации.

Главными предметами считались тактика и история военного искусства. Нужно было проштудировать около 10 объемистых томов этой науки. Курс истории античной древности читал полковник Баскаков, военную историю средних веков — генерал Гейсман, по прозвищу Гершка.

Появление на кафедре полковника Баскакова производило настоящую сенсацию. По присхождению донской казак, старовер, очень богатый по браку с дочерью известного в России мукомола Парамонова, Баскаков, одетый с иго-

лочки, в черном сюртуке, всегда новых аксельбантах, с громадным серебряным темляком на шашке, в безукоризненных белых перчатках, смуглый, с бородкой клином, медленно входил, поднимался на кафедру и сразу, не кланяясь, начинал лекцию. Речь его тянулась плавно, без единой запинки, без заглядывания в конспект; он ходил из угла в угол, не смотря ни на кого, и в течение часа, не останавливаясь, говорил.

Великие полководцы древности: Эпаминонд в Греции, Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь в его изображении являлись действительно непревзойденными мастерами военного искусства. До сих пор помню, как он, описывая разгром персидского царя Дария Александром Македонским, важно прорекал:

— В это время Александр Македонский обрушился на его правый фланг.

Если впоследствии, при переходе на старший курс экзаменующемуся офицеру выпадал билет — походы этого полководца, то Баскаков, прерывая экзаменуемого, неизменно задавал вопрос:

— А чем важен был успех Александра Македонского в сражении при Арабеллах и Гавгамеллах?

— Он важен для характеристики эпохи, господин полковник.

Всякий другой ответ влек за собою неудовлетворительный балл, как бы хорошо ни отвечал на вытянутый билет бедный офицер.

Из старшего курса в младший передавались специально составленные конспекты, где у каждого профессора были его любимые «рыбьи слова»; вопросы и ответы, которые и нужно было вызубривать не менее, чем самые войны *.

У другого профессора, Генерала Золотарева, в программе старшего курса следовало, например, на вопрос: «Что такое Минск?» — отвечать четырьмя словами, не больше: «Тыловой узел Северо-Западного театра»; и успех был обеспечен, хотя бы перед этим экзаменующийся ковылял.

На старшем курсе войны Наполеона, кроме похода на

---

* Пересмотр всей системы подготовки наших вооруженных сил, после японской войны, привел к изменениям программ Академии: центр тяжести перенесен на практические и полевые тактические задачи; «рыбьи слова» исчезают.

Россию в двенадцатом году, излагал угрюмный, но очень благожелательный профессор Колюбакин, впоследствии вывезенный при большевиках с некоторыми профессорами в Сибирь в товарном вагоне. Говорили что вагон этот, остался забытым на какой-то станции, и все профессора, в том числе и старик Колюбакин, замерзли.

Для Колюбакина Наполеон являлся величайшим полководцем всех времен и народов; а его операцию под Бауценом он почитал шедевром военного искусства. Если офицер знал твердо, в изложении Колюбакина, Бауцен, то он безусловно мог рассчитывать на высший балл.

Когда, при переходе на дополнительный курс, я вытащил билет: действия немецкой конницы под Марс-Латуром в 1870 году, то почувствовал свою гибель.

Войну 70 года читал полковник Данилов, называвшийся Данилов «Рыжий», в отличие от Данилова «Черного», впоследствии, в течение великой войны, состоявшего в Ставке Великого Князя Николая Николаевича в должности генерал квартирмейстера.

Данилов «Рыжий» получил незадолго до экзаменов какое то назначение, и по истории войны 70 года за него экзаменовать должен был Колюбакин. Поэтому мы не особенно налегали при подготовке к экзамену на франко-прусскую войну. Не помня деталей, этого великолепного сражения под Марс-Латуром, я начал отделываться общими местами, но вспомнив басню про ворону и лисицу, сразу с апломбом, ни к селу ни к городу, начал: «А вот под Бауценом, Наполеон...» Колюбакин сперва удивился, но вскоре удовольствие разлилось по его лицу, и он долго меня не прерывал. Затем спохватившись, что я отвечаю не по существу, несколько раз пытался меня прервать вопросами, на которые сам же отвечал, и под конец отпустил, поставив 11 баллов.

Блестяще читал историю конницы профессор генерал Орлов, только что вернувшийся из Китая, где он сражался во время «боксерскаго» восстания.

— «Конница есть оружие богов, сказал Полибий», так начинал свою лекцию, слегка картавя Орлов, и речь его, полная образов, текла плавно, как ручей, вызывая всеобщее одобрение.

Бедному Орлову не очень повезло в Китае. Ренненкампф, его подчиненный, не выполняя приказаний, сомостоятельно двинулся со своей казачьей бригадой, разбил всех находящихся перед ним «кулаков», и с налету взял Цици-

кар, Гирин, а за ними и Харбин. Операция кончилась раньше, чем Орлов подошел со своей пехотой.

Два Георгиевских креста Ренненкампфу подтвердили правило, что победителей не судят. Орлов остался не при чем.

Неудача преследовала Орлова и в японскую войну. В сражении под Ляояном он не проявил больших талантов, был отчислен Куропаткиным от командования дивизией и вернулся в Россию, с приклеенной ему кличкой «Орлов Ляоянский».

Политическую историю России читал известный профессор Сергей Федорович Платонов, и читал так, что на его лекции сбегались слушать все, кто был в этот час свободен в стенах Академии.

Как известно, большевики не постеснялись со всемирно известным ученым, судили и затем выслали из Петербурга в Самару, где он и окончил свое бренное существование.

Пробным камнем способностей каждого офицера и пригодности его к будущей службе по генеральному штабу, являлись практические занятия по тактике.

Велись они группами в 6-9 человек, под руководством профессоров Академии, курсовых офицеров или, за их недостатком, генштабистами петербургского гарнизона.

Самым неприятным считалось попасть к Баскакову, человеку очень пристрастному. Он не выносил самостоятельных и самоуверенных офицеров, и даже очень способных не стеснялся без сожаления резать.

При переходе на дополнительный курс, самым важным испытанием являлись практические занятия в поле в районе Петербурга, Царского Села, Красносельского лагеря, возле Усть Ижоры и т. д. Нам присылали лошадей из полков кавалерии с вестовыми; руководители давали тактические задачи для решения на местности, и каждые 2-3 дня группа выезжала в поле, где и производилась проверка, во всякую погоду, часто под проливным дождем.

На дополнительный курс перешло всего 70 человек из 160, поступивших в Академию; мы получили «птицу» — серебряный значек для ношения на груди — и гордо ходили по Питеру, считая себя без пяти минут офицерами генерального штаба.

Три года Академии прошли незаметно. Я лично не очень утруждал себя зубрежкой, и только практические занятия отнимали сравнительно много времени, да подготовка к эк-

заменам, продолжавшаяся около 1½ месяцев. Дополнительный курс был самым интересным; никаких лекций не существовало, все ограничивалось разработкой на дому трех тем, при чем на каждую из первых двух полагалось 2 месяца, а на третью — три. Первая была исторического характера, вторая общевоенного, третья называлась «стратегической» и состояла из отделов: административного, статистического и чисто стратегического.

Попав к Баскакову на вторую тему и получив всего 8 ½, я впал в уныние и думал, что карьера моя кончена. Но на последней теме счастье мне улыбнулось. На мой доклад по стратегической теме, в конце апреля, пришел сам начальник Академии генерал Глазов. Я получил полные 12 баллов и удостоился нескольких лестных слов:

— Поручик Дрейер, я смею думать, что из Вас выйдет хороший офицер Генерального Штаба.

Счастью моему не было границ, хотя из-за Баскакова я кончил Академию далеко не из первых.

***

Одним из приятнейших периодов моей жизни, безусловно, были 3 года, проведенных в Петербурге, где, не очень затрудняя себя в Академии Генерального Штаба, я познал все прелести веселой столичной жизни.

Мой дядя не «был честных правил», из ресторанов не выходил, был известен всему кутящему Петербургу и частенько возил меня с собой. Едва мы появлялись на пороге «Медведя» или «Аквариума», как лицо швейцара уже расплывалось в широкую улыбку, и он низко кланяясь, радостно вскрикивал: «мое почтение Николай Иванович!» Зная, что при выходе из заведения этот Николай Иванович сунет ему в руку не двугривенный, а серебряный рубль. Татары лакеи, завидев завсегдатая, кидались со всех ног, усаживая за лучший столик.

Завтрак, обед или ужин проходил весело, пока мой почтенный родственник не доходил до третьей бутылки Клико Инглянд. Тогда он ни на кого уже больше не обращал внимания и начинал беседу с татарином лакеем на его родном языке. Уроженец и помещик Уфимской губернии, он отлично говорил по-татарски, и татары — а они то и служили во всех лучших ресторанах и кафе-шантанах Петербурга лакеями, — питали самую горячую симпатию к их земляку.

Когда обстановка позволяла, и особенно в отдельных кабинетах Крестовского сада, или Аквариума, мой Николай Иванович, наговорившись досыта с лакеями, затягивал свои уфимские песни. Пел он их соло, иногда хором с приятелями, за которых, кстати сказать, неизменно платил. Вокальная программа всегда начиналась заунывной песнью:

«Наколола ноженьку на былинку
Болит моя ноженька, да не долго.
Не долго не мало, три годочка
Уехал мой миленький в городочек.»

«В чистом поле яблонька не у места,
А я у мамашеньки не невеста»....

Окончание мною Академии Генерального Штаба по I разряду, было ознаменовано грандиозным кутежом в Аквариуме, куда мой дядюшка просил позвать с десяток моих ближайших товарищей по выпуску. Само собой разумеется, что по счету платил он. В отдельном кабинете шампанское лилось рекой, приглашенные певички француженки канканировали, или плясали модный кэк-уок; хоры русский и цыганский сменяли один другого; метр д'отель Заплаткин, которого Николай Иванович за глаза почему то называл «светлая личность», разрывался на части, стараясь как можно лучше нам услужить.

В числе приглашенных на этот кутеж находился мой коллега по выпуску Иван Павлович Романовский, впоследствии Н-к Штаба Деникина в гражданской войне, убитый в 1920 году в Константинополе в Русском посольстве неизвестным офицером.

ПРИЧИСЛЕНИЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ

Но вот кончилось почти трехлетнее обучение военным наукам, и началась служба «причисленного» к Генеральному Штабу молодого офицера.

Все мы за окончание получили следующий чин и, по существующему закону, отправились сперва на лагерные сборы в округа, по своему выбору, дабы затем с осени начать прохождение стажа командования ротой. Офицеры кавалерии и конной артиллерии прикомандировывались к кавалерийским полкам, где им давали эскадрон.

Получив образование в пехотном училище, прослужив 4 года в артиллерии, я захотел пройти сборы в рядах регулярной конницы.

Сперва блестящие юнкера Николаевского Училища – «моншеры», затем элегантные кавалерийские офицеры — адъютанты Туркестанского Генерал-Губернатора, — были всегда предметом моей зависти. Теперь, когда представился случай, явившись в Штаб Виленского Округа, и проделав двухнедельную съемку в Литовских болотах, я просил о назначении меня в отдельную кавалерийскую бригаду в Борисов.

Разрешение было дано, и в конце июня 1903 года я явился к Командующему бригадой Генерал-Майору Ренненкампфу.

***

На всякого, кто видел Ренненкампфа в первый раз, он производил потрясающее впечатление. Выше среднего роста, атлетического сложения, с грудью циркового борца, громадными подъусниками, большими серыми глазами, звучным голосом, покрывавшим на учении звуки труб и конский топот, с двумя Георгиевскими крестами, только что полученными за китайский поход, Павел Карлович Ренненкампф являл собою совершенно законченный тип прирожденного военного. Отлично образованный, числившийся по Генеральному Штабу, порою остроумный, необыкновенно жизнерадостный и почти всегда веселый, он поражал своей простотой с подчиненными, особенно с молодыми офицерами.

За всю свою долгую службу я не знал ни одного человека, который так бы любил свое военное дело. Чрезвычайно требовательный по службе, а это особенно чувствовалось старшими начальниками, Ренненкампф являлся непревзойденным учителем солдат и офицеров.

Но как у всякого, у него были, конечно, свои недостатки.

Например, он не отличался справедливостью и беспристрастностью и выискивал всякие способы, чтобы в конец извести своего подчиненного, который ему почему либо не нравился. Любимчиков, часто мало способных, он наоборот выдвигал.

Из двух командиров полков один, полковник Мезенцев командир Иркутского полка, милейший старик, пользовался, полной симпатией своего начальника, хотя службой себя не утруждал.

Второй — Трамбицкий — «Тромбон», как его за глаза называли, молодой, прошедший два курса Академии, отлично ведший свой Архангелогородский драгунский полк, был самый несчастный человек. Ренненкампф систематически отравлял ему существование. Дня не проходило, чтобы в приказе по бригаде не было какого либо язвительного замечания по адресу «Тромбона». И в конце концов бедный Трамбицкий не выдержал и ушел, получив другой полк.

Ренненкампф, в Борисове, ежедневно с утра выезжал на учение полков. К этому времени кончались эскадронные учения и начинались полковые и бригадные. Ренненкампф как вихрь носился по громадному Борисовскому плацу, отдавая приказания, делая замечания, и, под конец, переходя на немые учения — маневрирование по сигналам трубача.

С учения, в сопровождении дочери от второго брака, которая ждала отца на опушке леса вблизи плаца, Ренненкампф карьером мчался домой, рубя по дороге шашкой молодые сосны. «Рубка», а на ней были помешаны все, была излюбленным занятием Ренненкампфа после учения.

По вечерам, примерно раз в неделю, в полковых собраниях играла музыка, молодежь танцовала, Ренненкампф, приведя свою жену, это была третья, засаживался за карты.

История его женитьбы, за год перед этим, долго была притчей во языцех. Молодая, довольно красивая женщина, всегда молчаливая, она, несмотря на свое высокое положение — жены старшего начальника, — чувствовала себя какой-то потерянной среди общего веселья. В начале поражало всех, что «молодой» муж не обращал на нее ни малей-



Генерал П. К. Ренненкампф.

шаго внимания и редко с ней разговаривал. На одном из таких вечеров, во время танцев, она вдруг почувствовала себя дурно. Все заволновались, кинулись к Ренненкампфу, игравшему в карты.

Не вставая из за стола, не оборачиваясь, он только кинул своему адъютанту по хозяйственной части любимцу Сергееву:

— Михаил Иванович, отведите ее домой.

Дома она почти всегда и оставалась, посещая изредка лишь семью богатого помещика Колодеева.

Второму адъютанту Зарецкому, который часто бывал с докладами у Ренненкампфа и приглашался к столу, она рассказывала, что от скуки открыла раз ящик письменного стола генерала и увидала там в удивительном порядке пакетики писем, завязанных разноцветными ленточками. Это была переписка со знакомыми дамами. Открытие это произвело очень тяжелое впечатление на бедную оставленную дома Евгению Дмитриевну.

Помню, сообщал Зарецкий, как то за ужином Е. Д. спросила генерала — он был нумизмат, — что означает надпись на одной из монет: «не нам, не нам». Генерал ответил тоном раздражения: — «Не нам, не нам, а денщикам», очевидно желая отметить, что его жена была плохой хозяйкой с его точки зрения. Чувствовалось, что с каждым днем наростало неудовольствие, и Ренненкампф редко оставался дома, покидал жену, отправляясь в соседний дом к полковнику Синицыну, где с его женой, крупной полной дамой, играл в винт. Года через полтора во время Р.-Японской войны последовал развод и он женился в четвертый раз в Сибири.

***

По окончании полковых и бригадных учений, начались малые маневры, для подготовки к большим, в районе Минска. Для меня лично все это было черезвычайно интересно и ново. Полки оставались в поле почти целый день, а к вечеру наш небольшой штаб — три офицера и сам Ренненкампф — занимали в ближайшей деревне «халупы», где и располагались на ночлег.

Для дневки обыкновено выбиралось местечко, или уездный городок, где отдых проходил довольно интересно. Хорошо пообедав, выпив по 2-3 рюмки водки и съев каждый

с полсотни раков, а Ренненкампф мог съесть и полторы, мы выходили на прогулку.

Появление кавалерии в еврейском местечке, или городке, производило необычайную сенсацию. Молодые барышни облекались в свои праздничные платья и к вечеру выходили гулять по кругу в местном сквере или в городском саду.

Мы тоже прихорашивались, и Ренненкампф — колонновожатый — весело произносил: «Идем смотреть выводку кобылиц».

Девицы сперва конфузились, затем делались более смелыми, и на громкие комплименты генерала хихикали и дарили его своей улыбкой. Расставив ноги, выпятив богатырскую грудь, на которой гордо красовались два белых креста, Ренненкампф не стесняясь делал комплименты.

— Посмотрите, какая красавица, а какие буфера! Ну а вот эта, — настоящий ганноверский гунтер Пальмгрена.

Поручик Пальмгрен, офицер Иркутского полка с большими средствами, ездил на великолепной кобыле — гунтере, бравшей высоченные препятствия, купленной в Германии за 1.500 рублей.

О менее красивых девушках, говорилось не громко, между собою, чтобы не оскорбить их слуха:

«Циферблат вот у этой брюнетки не плох, но ноги с козинцом».

***

В конце августа начались большие маневры, продолжавшиеся около недели, где Ренненкампф со своей бригадой конницы проявил все качества превосходного кавалерийского начальника, что и было отмечено главным руководителем генералом фон дер Лауницем, во время разбора.

Я с сожалением покидал Борисов и офицеров кавалерии, среди которых нашел новых друзей, особенно в лице П. К. Ренненкампфа. Мы очень подошли друг к другу, несмотря на разницу лет и чинов. Провожая меня, он несколько раз повторял, что в будущем будет всегда рад служить со мною. Судьбе было угодно, чтобы я снова с ним встретился через 3 года в Вильне, когда он принял 3-й армейский корпус, вернувшись с Японской войны.

С особенно теплым чувством вспоминаю одного из приятелей, Иркутского гусара, адъютанта Штаба Ренненкампфа, Поручика Николая Васильевича Зарецкого.

До моего приезда в Борисов, он исполнял вакантную должность офицера Генерального Штаба и, будучи человеком умным и образованным, легко справлялся со своими обязанностями. — Глядя на Зарецкого, трудно было себе представить по всей его внешности, довольно небрежной экипировке, что это гусар, каковым гусар должен быть: рубака, кутила, «лошадник», бретер, любитель женщин.

В его мешковатой фигуре чувствовался скорее чиновник Губернского правления, а не бесшабашный кавалерист. Импонировал Зарецкий не своим мало воинственным видом, но природным добродушием, скромностью, спокойствием, вкрадчивым голосом и самоуверенностью в своих суждениях, особенно если это касалось искусства.

Талантливый художник новейшей в то время школы импрессионистов, что он доказал позже, будучи в эмиграции в Чехословакии, где стоял во главе русских художников. Молодой Зарецкий пользовался в Борисове всеобщим уважением как хороший товарищ и превосходный рассказчик.

В последний раз в России мы встретились с ним в 1919 году в Ялте, в Крыму, куда устремились многие, бежавшие от большивиков. — Случайно пришлось узнать, что Зарецкий благополучно перебрался из «гостеприимной» Чехословакии во Францию, и бывал довольно частым гостем у известного писателя В. П. Крымова на его вилле под Парижем *.

---

* Дни свои Зарецкий закончил в старческом доме в городке Cormeilles en Parisis в 1962 году, где я его дважды навещал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТУРКЕСТАН

В конце сентября 1903 года, после 3-х летнего отсутствия, я вернулся в свой родной Ташкент, и не узнал его. К тому времени он был уже связан железной дорогой с Оренбургом; физиономия города сильно изменилась, появились новые люди, масса инженеров путей сообщения, богатые армяне, открыт был трамвай с лошадиной тягой, построенный бельгийским обществом группы барона Ампена, проложены новые улицы.

Инженеры путейцы, набившие карманы на постройке дороги, сорили деньгами, начали давать тон, затмив адъютантов генерал-губернатора.

Приехав в Ташкент и явившись по начальству, я принял роту в 4-м туркестанском стрелковом батальоне. В то время батальоны еще не были развернуты в полки, и каждые четыре батальона составляли стрелковую бригаду.

Туркестанские войска, по старой традиции, были отлично выучены, что и доказали во время Великой Войны; поэтому командовать ротой было одно удовольствие.

Во главе батальона стоял полковник Карабчевский, брат знаменитого в России адвоката Карабчевского; он знал меня еще 6-летним рабенком, когда служил в Окружном Штабе вместе с моим отцом.

Карабчевский являлся в батальон не часто; он недавно женился на молодой девушке, довольно красивой, был ревнив как Отелло, и боялся ее оставлять одну дома. Несмотря на это она все же ухитрилась от него сбежать, и он уехал из Ташкента.

Новый командир Шумаков, отличный служака, сидел постоянно в батальоне, ротных командиров не стеснял, и мы ездили на службу аккуратно утром, а после обеда предоставляли заниматься с людьми младшим офицерам и «сверхсрочным» унтерам.

Центр тяжести всего обучения состоял в стрельбе; поэтому лагерная служба летом велась гораздо строже, чем зимой. Считалось, что самое название стрелок, обязывало

всякого солдата отлично стрелять, и целая рота на смотрах обязана была давать результат «сверх-отлично». Ежегодная аттестация ротного командира зависила главным образом от того, как его рота стреляла.

Первый, кого я встретил из старых знакомых, был мой француз Рафаил; он чуть не заплакал от радости, обнаружив во мне новые познания во французском языке, — результат моего приватного образования в отдельных кабинетах петербургского «Аквариума».

Стифель, тотчас же сообщил, что он меня познакомит с недавно приехавшими в Ташкент французами — его друзьями.

Первый был директором трамвайного общества, второй — его помощником и бухгалтером. Сам Стифель устроился тоже туда на службу за 100 рублей в месяц переводчиком.

Знакомство состоялось чуть ли не на третий день моего появления в Ташкенте, в стенах все того же военного собрания, где бельгийцы, репетировали какую то пьеску для предстоящего вскоре спектакля. Бельгийцы оказались очень веселыми и симпатичными людьми, и по окончании репетиции пригласили меня в столовую собрания ужинать.

Все они умели отлично пить, и когда за столом появилось шампанское, то принялись и за пение. Я вспомнил петербургские кафе-шантаны с француженками в отдельных кабинетах и старался не отставать, причем мой репертуар оказался свежее. К часу ночи кроме нас никого в столовой не было, и мы уже, не стесняясь, перебрали все модные шансонетки.

КОНЕЦ 1904 — НАЧАЛО 1905 г.

Россия продолжала вести неудачную войну на востоке. Потеряв Ляоян, а затем Мукден, Куропаткин доносил в Петербург: «Наши отступают с песнями».

С весны 1905 года в Туркестан начали проникать слухи, что в тылу армии не благополучно — начались брожения среди запасных. В октябре вспыхнула революция; и в Ташкентском гарнизоне взбунтовался резервный батальон.

Начальство растерялось; но благодаря твердости младшего командного состава все обошлось сравнительно благополучно.

Командующим войсками и Генерал-Губернатором в то время был недавно назначенный генерал Тевяшев, по прежней должности Главный Интендант; мягкий, незначительный человек, неизвестно почему попавший на столь высокий пост. Но еще более неудачным в это смутное для России время оказался его помощник — начальник Штаба Округа генерал Евреинов. Эта штабная крыса, Евреинов, еще недавний генерал квартирмейстер при предыдущем Начальнике Штаба Сахарове, уехавшем на войну, — всецело погрязший в бумаги, не имевший серьезного строевого стажа, был для всех своих подчиненных притчей во языцех. Маленький, обезьяньего вида, с короткой талией и длинными ногами, злющий, ко всем постоянно придирающийся, доводивший своих подчиненных, даже начальников отделений, почтенных полковников, почти до слез, этот Евреинов не умел самостоятельно составить ни одного доклада, ни лично исправить ни одной бумаги.

— Нет, это надо изложить иначе, и поставить как следует запятые — неизменно повторял он, когда ему приносили на подпись в первый раз важный доклад.

После третьего исправления, а сам он не брал в руки и пера, чтобы самому написать, как он считал нужным, бумага проходила.

Когда однажды полковник Зеленецкий, начальник строевого отделения, принес ему какой-то рапорт командующему войсками, после четвертого исправления, Евреинов найдя его редакцию неудачной, грубо и ни к селу ни к городу произнес: «С ... и сам себе не верит».

Зеленецкий повернулся, хлопнул дверью и, придя в отделение заявил: «Я этой сволочи набью морду!»...

Своих подчиненных с характером, Евреинов этот все же боялся и даже проникался к ним уважением. Однажды в церкви на молебне, по случаю тезоименитства Государя он подошел к Капитану Корнилову (будущему Верховному Главнокомандующему) и спросил:

— Капитан Корнилов, а что мы ответили вчера дипломатическому чиновнику при Эмире Бухарском Клемму по поводу Мургабского имения?

— Не время и не место, — отрезал Корнилов, едва взглянув на своего начальника.

Евреинов отскочил, как ошпаренный, и потом часто повторял:

— Хороший офицер, только очень самолюбивый.

В дни октябрьской революции Евреинов этот совершенно растерялся, перенес свой штаб, почему то, в мужскую гимназию, где прекратились временно занятия, и предоставил всем распоряжаться младшим подчиненным, которые не боялись выходить на улицу и передавать верхом распоряжения по гарнизону.

***

В конце лета 1904 года прибыл в Ташкент раненый на фронте в Манчжурии и прошедший после этого курс лечения во Франции, в Каннах, генерал Церпицкий, назначенный командиром I-го туркестанского корпуса. Старый туркестанец времен завоевания Туркестана, сподвижник Кауфмана и Скобелева, прошедший все этапы строевой службы в Туркестане, знавший душу солдата и все его нужды, Церпицкий этот олицетворял тип старого вояки без большого образовательного ценза.

В один из октябрьских дней было объявлено: такого то числа, в таком то часу, командир корпуса произведет смотр стрелковой бригаде. Войска выстроились на плацу; махальные, расставленные по дороге, начали сигнализировать, что командир корпуса едет. Его еще пока не видели в глаза, думали приедет почтенный седой генерал, как принято в коляске, возле казарм, быть может сядет на лошадь.

Но не тут то было. На великолепном коне вынесся на плац молодецкого вида бравый генерал, осадил на галопе коня и зычным голосом крикнул:

— Ура, молодцы туркестанцы, здорово храбрецы!

И стал объезжать фронт батальонов. Как электрическая искра пронеслась по рядам, все ожило, глаза у всех засверкали и понеслось дружное ура.

Церпицкий лихо соскочил с коня и начал обходить шеренги. Перед солдатом, который ему почему либо понравился, он останавливался и начинал:

— Вот так молодец; а ты женатый? Не женатый, говоришь; а невеста у тебя есть? А ты ее любишь? А она тебя? Любит?

И пошел, и пошел ... В рядах смех, солдаты огорошены, никогда ни один начальнык с ними так не говорил. После церемониального марша снова сел на коня, проскакал перед батальонами и унесся в пыли, в сопровождении молодого адъютанта, корнета Берса.

Через несколько дней, без предупреждения, Церпицкий является в 4 стрелковый батальон, где я командовал ротой и прямо направляется на одну из ротных кухонь.

— А ну ка, кашевар, покажи, что у тебя в котле?

— Пишша, — солдаты такъ произносили слово пища, — и каша, Ваше Превосходительство.

— Ну, давай пробу.

Зачерпнул деревянной ложкой и обратившись к прибежавшему ротному командиру, заметил:

— Щи не плохие, но не наваристые, и без приправы; нет майорану; не плохо бы и поросенка туда, или кур.

Ротный пучит глаза, и не зная что ответить, мычит:

— Так точно, Ваше Превосходительство, в следующий раз положим.

И хотя поросят не клали, ибо ни в какой раскладке по солдатскому довольствию это не предусматривалось, но майоран всегда держался на готове, и впредь, при приближении корпусного командира, сыпался в щи без меры.

Появляясь иногда, и тоже без предупреждения, в казармах, Церпицкий был очень доволен, когда видел в ротах чисто подметенные каменные полы, на стенах много картин батального характера и, конечно, в золотой раме портрет Государя. Солдатам он сейчас же задавал вопросы по словесности: «а что такое солдат, а что такое присяга?»

И когда вспотевший от волнения рядовой бодро докладывал, что «присяга есть клятва перед крестом и святым Евангелием», Церпицкий быстро находил глазами какого ни-

будь глуповатого татарчука из Казани и беря его за плечи, говорил: «а что такое, братец, Евангелие?»

Помню был один замечательный ответ: «так что, Ваше Превосходительство, Евангелие, Евангелие...»

— Ну, ну, — подбадривал Церпицкий, — что же там сказано в этом Евангелии?

— Там про всю русскую землю сказано, Ваше Превосходительство.

Ротный командир покраснел, фельдфебель, выпучив глаза, погрозил здоровенным кулаком из-за спины корпусного; Церпицкий только рассмеялся.

А в ротных кухнях кашевары уже успели облачиться в белоснежные фартуки и сыпали в щи майоран.



19 октября 1905 года я был переведен в Генеральный Штаб с назначанием в Штаб Туркестанского военного округа. Двух-летний ценз командования ротой, вследствие продолжавшейся войны, был сокращен на год.

Предварительно, сам Церпицкий устроил мне смотр ротного учения и дал отличную аттестацию.

Назначенный в мобилизационное отделение, самое скучное и нудное в службе генерального штаба, я с сожалением покидал строй. А перспектива попасть в переделку к начальнику Штаба Евреинову не сулила ничего хорошего. Так довольно скоро это и случилось.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Видной и черезвычайно импозантной фигурой в Туркестане несомненно являлся Великий Князь Николай Константинович. Племянник Александра II, старший сын Великого Князя Константина Николаевича, генерал-адмирала Русского флота, он в восьмидесятых годах появился в только что завоеванном крае, со своей морганатической супругой, где остался до конца жизни, и с большими почестями после войны был похоронен большевиками в городе Ташкенте.

В годы своей молодости, за свое скандальное поведение, он был сослан сперва в Оренбург, для исправления.

Вскоре после приезда в этот город, в семье Оренбургского полицмейстера Александра Густавовича фон-Дрейера, моего двоюродного деда, он познакомился с его двумя дочерьми, и на старшей Надежде женился.

Младшая София вышла замуж за князя Долгорукова, состоявшего впоследствии при Императрице Марии Федоровне.

Женитьбу Великого Князя признали законной, но его сослали еще дальше — в Ташкент, под наблюдение Туркестанского Генерал-Губернатора.

В силу своего вздорного характера, особенно развившегося с годами, Великий Князь причинял не мало хлопот генерал-губернаторам, которые не могли не считаться с его великокняжеским званием.

Будучи еще молодым, Великий Князь, при твердом и умном Генерал-Адъютанте К. П. Кауфмане особенных фортелей не выкидывал. Наоборот, он, как бы желая себя реабилитировать, проникся мыслью принести пользу только что завоеванному краю. На отпускаемые ему от Ведомства Уделов ежегодные 200.000 рублей, как Великому Князю, он решил оросить лежащую между Ташкентом и Самаркандом голодную степь. Из года в год, набирал сартов из ближайших кишлаков и рыл колоссальный канал — «арык», получивший название «Искандер», в память, вероятно, Александра Македонского — Искандера то туземному, — ко-

торый, по истории, проходя через Туркестан, оросил его ирригационной системой *.

С годами пыл у Великого Князя прошел, и он начал чудить, заставляя все больше и больше о себе говорить. Завел чуть ли не гарем из сартянок, а затем уже открыто стал жить с любовницей уральской казачкой, прижив с ней детей, и не стесняясь открыто ездил с ней в коляске по городу и появлялся даже в театре. Иногда его видели в военном собрании, где он ухаживал за кокетливой Шаргиной, женой мелкого чиновника.

Все еще красивый, хотя и облысевший, громадного роста, породистый, с моноклем на черной широкой ленте в глазу, Великий Князь сразу обращал на себя всеобщее внимание.

Общительный с близкими и остроумный, он любил поражать своими афоризмами. Один из них облетел весь город: «любую женщину можно иметь, все зависит сколько ей нужно дать: пять рублей или пять миллионов».

Но вот пошли слухи, что Великий Князь начал серьезно волочиться за пятнадцатилетней девченкой «Варькой» Хмельницкой. Прехорошенькая гимназистка 4 класса, Варя Хмельницкая, ее мать и старшая сестра, тоже красивая девушка, гимназистка последнего класса, жили в скромной маленькой квартире на окраине города. Обе барышни во время каникул летом приходили танцовать в военное собрание, где за ними ухаживали приезжавшие из Оренбургского корпуса кадеты.

Вскоре вся семья перебралась в купленный за 30 тысяч «свой дом», и Великий Князь почти не выходил оттуда.

Летом 1905 года, едва только его законная жена Надежда Александровна уехала в Петербург, где у ее belle-mère Великой Княгини Александры Иосифовны гостили на каникулах в Мраморном Дворце дети Великого Князя, два сына пажа, Николай Константинович велел подать тройку, посадил в коляску своего швейцара, заехал за Варичкой Хмельницкой и поскакал в русский Никольский поселок, в 12-ти верстах от Ташкента.

Здесь нашли попа, хорошо ему заплатили и пошли в местную, церковь венчаться; швейцар исполнял обязанности шафера.

---

* Двое законных сыновей Великого Князя получили также фамилию Искандер.

Скандал получился колоссальный. Генерал-Губернатор рвал и метал; в Петербург полетел рапорт.

И все кончилось печальным эпилогом: Великого Князя сослали снова, на этот раз в Крым, в Евпаторию, а мамашу Хмельницкую, со вновь обвенчанной «Великой Княгиней» — в Одессу на поселение. Попа расстригли, швейцара — шафера выгнали из дворца. Старшую сестру не тронули; она вскоре вышла замуж и пользовалась таким успехом, что из-за нее сначала подрались, а затем стрелялись на дуэли двое влюбленных — инженер путеец Горецкий с помощником прокурора Окружного Суда Блоком. Муж благоразумно остался в стороне.

МОЯ СЛУЖБА ОФИЦЕРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

В конце ноября 1905 года Командующий войсками Тевяшев, начал, объезд войск, занимавших гарнизоны в Маргелане (Скобелеве), Андижане, Самарканде и т. д., дабы убедиться, что революционная зараза не проникла во вверенные ему части Туркестанского военного округа.

В поездках этих его сопровождал обыкновенно тот же пресловутый Начальник Штаба Евреинов, личный адъютант командующего подъесаул Есипов и два офицера Генерального Штаба, в качестве свиты.

После одной из таких инспекторских поездок я вынужден был оставить Туркестанский округ и перевестись в Вильну. Вот как это произошло.

Экстренный поезд командующего войсками: его вагон, вагон начальника штаба и сопровождавших офицеров, и вагон-салон, не торопясь тащился из Ташкента в Маргелан.

Был вечер. Мы трое пообедали, и в моем купэ — я, капитан Генерального Штаба граф Соллогуб и подъесаул Есипов — сидели полураздетые, в нижнем белье, и дулись в макао. Вдруг отворяется тихонько дверь, показывается голова евреинского денщика и, не входя, он обращается ко мне:

— Ваше Высокоблагородие, так что Вас требует начальник штаба.

— Хорошо, сейчас.

А тут как на зло пришла кому-то из нас хорошая талия и нужно было тянуть до битой карты, или сниматься.

Банкомет решил тянуть.

Через 5 минут снова появляется солдат:

— Так что Ваше Высокоблагородие...

— Хорошо, скажи сейчас.

Не проходит и двух минут, дверь купэ настеж открывается и, появляется сам Евреинов, трясясь от злости.

— Капитан Дрейер, покорнейше прошу Вас пожаловать ко мне.

Мы вскочили, бросили карты, посыпались деньги, я быстро оделся и пошел в вагон-салон.

На Евреинове не было лица. Приседая и гримасничая он, как кошка, начал подкрадываться ко мне и забормотал всякий вздор:

— Вы что же думаете, что я девка, девка? Вы хотите меня соблазнять Вашими розовыми подштанниками...

Ничего не понимая, я быстро и решительно направился к нему.

Евреинов вдруг испугался, повернулся и побежал, прикрываясь большим столом, на котором лежала развернутая карта. Ему вероятно показалось, что его хотят бить.

— Что Вы, что Вы, с ума сошли, хотите дать мне по морде? Смотрите, смотрите, сошлют в Сибирь, а меня выгонят со службы.

Я совершенно растерялся, не понимая, что происходит с этим утратившим всякое достоинство человеком, и чего он так перепугался. Мне и в голову не приходило учинять над ним насилие,ибо ничего оскорбительного по моему адресу он, в сущности, не сказал.

Поняв по моей спокойной позе, что произошло недоразумение, Евреинов оправился, залебезил, ласковым голосом велел что то записать к будущему приказу по Округу; и даже ... стыдно вспомнить, — пообещал мне хорошие наградные к Рождеству.

Даже не верится, что могли существовать в старой России на высоких постах подобные люди.

Возвратившись из этой «веселой» поездки в Ташкент, я вскоре подал рапорт о переводе меня в Виленский военный округ и, разумеется, препятствий к тому не оказалось.

Обсуждая с сослуживацами по туркестанскому штабу поведение Евреинова, мы наконец поняли почему он впал в такую панику в поезде командующего войсками. Вспомнили печальный инцидент, происшедший летом 1902 года в

Красном Селе, во время маневров I Гвардейской Кавалерийской дивизии.

Начальником штаба этой дивизии был полковник Дружинин; и к этому же штабу был прикомандирован только что окончивший Академию штабс-капитан гвардейской конной артиллерии Троцкий, — племянник бывшего командующего Виленским округом генерала Троцкого.

Блестящий офицер Генерального Штаба, отлично владевший языками, богатый, но физически мало представительный, Дружинин высокомерно держал себя с подчиненными и любовью ни среди гвардейцев, ни в кругу «моментов» не пользовался.

Троцкий, молодой красивый парень, развязный, веселый, отлично окончивший Академию, будучи сам гвардейцем, чувствовал себя, как рыба в воде, среди конногвардейской и кирасирской молодежи. После одного какого-то дивизионного маневра, когда офицеры пришли в собрание на его разбор, за которым обыкновенно следовал обед с хорошей выпивкой, у полковника Дружинина с Троцким началась сразу какая-то пикировка.

А затем во время самого разбора, когда очередь делать доклад дошла до Дружинина, Троцкий не громко, но довольно язвительно позволил себе с мнением своего начальника не согласиться.

Дружинин вспылил, обозвал Троцкого невеждой и даже, кажется, чем то в него швырнул. Как тигр кинулся атлет Троцкий на щуплого Дружинина, ударом кулака сразу свалил его на пол и, придя в дикую ярость, стал нещадно топтать ногами.

Все так быстро произошло, что никто не успел во время вмешаться. В результате всей этой скверной истории Дружинин был отчислен от Генерального Штаба, и уволен со службы, а Троцкого разжаловали в солдаты.

Во время Японской войны он в звании рядового отличился, получил Георгиевский крест и Высочайшею волею снова был произведен в свой прежний чин, однако без перевода в Генеральный Штаб.

***

В самый день Нового 1906 года я сел в поезд и навсегда распрощался с моей дорогой родиной, милым Туркестанским краем, имея в кармане 4-х месячный отпуск и, собранные от продажи всего моего имущества, тысячу рублей.

ПЕРВАЯ ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА

Покинув Ташкент, я мог, наконец, осуществить свою давнишнюю мечту — поехать за-границу. Загипнотизированный сперва рассказами Стифеля, позже — моих друзей бельгийцев, я рисовал себе картину, как буду наслаждаться чудесами Парижа, играть в рулетку в Монте Карло, любоваться красивыми венками.

Повидав предварительно в Петербурге моего дядюшку Николая, заглянув в одну-другую «тихую обитель», облачившись в штатскую пару, с восмьюстами рублей в кармане, я смело пустился в путь. Первый этап — Берлин, где за 218 марок был куплен билет 2-го класса — «рундрейзе» по маршруту: Брюссель — Париж — Ницца — Монте Карло — Генуя — Милан — Вена — Берлин.

Берлин в ту далекую эпоху, до разгрома немцев в I-ую мировую войну, поражал своим блеском, чистотой улиц, великолепными магазинами, особенно с сигарами на всех главных углах, переполненными кафе и бирхаузами с толстыми красивыми кельнершами, и блестящими офицероми на Унтер ден Линден, с моноклями в глазу, ни на кого не смотревшими и не дававшими никому дороги.

Богатство, довольство, уверенность в превосходстве над всем миром этой Deutschland über alles так и било в глаза. Немцы веселились во всю; по вечерам трудно было найти место в театрах, кафе-шантанах и даже в пивных.

Мое пребывание в феврале в Берлине случайно совпало со свадьбой кронпринца.

Процессия проходила по Унтер ден Линден. Это было блестящее зрелище, в котором принимали участие сам Кайзер, ехавший верхом с жезлом в руке, все немецкие принцы, иностранные дипломаты, военные атташе, за ними эскадроны гвардейской кавалерии и шефские полки пехоты. Тротуары были запружены сотнями тысяч немцев и немок, надрывавшихся от восторга.

Пробыв около недели в Берлине, отдав должное знаменитому Винтергартену, где в то время показывала себя бывшая любовница Короля Бельгийского Леопольда — Клео де Мерод в голом виде, обмазанная золотой краской, обкурив-

шись дешевными сигарами, я утром сел в поезд и в 10 час. вечера очутился в Брюсселе.

Если мой ташкентский друг Рафаил Стифель приходил в экстаз при воспоминании о Париже, то другие мои приятели, бельгийцы, находили, что нет лучшего в мире города, чем Брюссель.

— Quelle ville! quelle beauté notre Boulevard d'Anspash, et l'église Ste. Gudule, et la bière ghez Lambic!

Не теряя времени, сняв комнату в маленьком отеле возле вокзала, я вышел и сразу очутился на знаменитом бульваре Анспах, и на террасе кафе, отеля Метрополь, тотчас же потребовал этого «гез Ламбик». Гарсон посмотрел на меня с сожалением, пожал плечами, принес большой стакан, насыпал в него сахару и налил какое то пойло. Все это зашипело, пена полилась через край, я начал ее глотать, боясь что все вытечет. После второго глотка, решил остановиться, — пусть пьет этот Ламбик кто хочет, но не я. Позже мне объяснили, что это напиток студентов, художественной богемы, и подают его в маленьких дешевых пивных, а не в больших элегантных кафе.

Брюссель в ту эпоху, в сравнении с Берлином, походил на симпатичный губернский город, где все было уютно, просто и весело. Богатая Бельгия, насчитывала сотни миллионеров и людей с большими средствами. Когда бельгийцы веселились, то от души, со смехом, шутками, не отказывая себе ни в чем.

Помню бал в театре de la Monnaie в день mi-carême. Кажется, я один не пил шампанского и не ужинал, а только грустно бродил по залам и наблюдал. Мужчины во фраках, дамы в бальных платьях, пили, ели, орали, пели, плясали, веселились до утра. А днем на улицах чуть не весь город был в масках, большинство костюмированные; горланили, скакали, водили хороводы. С десяток девченок окружили меня и, издеваясь над моим большим ростом, пели и тащили за пиджак.

Вспоминаю, для сравнения, другой вечер в Берлине, в модном кабачке на Берен Штрассе. Немцы в смокингах с немками, в большинстве содержанками, или консоматоршами, чинно сидят за столиками, вокруг большой танцовальной площадки. Тишина; играет музыка; серьезно пьют свой «зект» — немецкое шампанское, марки «Хенкель Трокен» (На дочери этого «Хенкеля» женился при Гитлере Риббентроп и, благодаря ее деньгам, сделал свою карьеру).

Немец пьет торжественно, смотрит на свою немку, время от времени подымает бокал: "Prosit". — Немка смотрит с нежностью на своего немца и, закатывая глаза, шепчет: "Du! Du!" и целует его руку.

Немец не выдерживает, чинно берет свою Freundin за талию и тихо ей что-то говорит. Она радостно взвизгивает, не очень громко, и снова: "Du! Du!"

***

Задержавшись довольно долго в Брюсселе, осмотрев, с Бедекером в руках церкви, — а Бедекер, главным образом, и гонял туристов по церквами, — осмотрев музеи, а также, само собой разумеется, некоторые мюзик-холли, я продолжал свой маршрут.

Выехав в полдень, в 3 ½ часа дня я был уже в Париже.

Меня мучил голод, но я решил сперва найти недорогую гостинницу, поближе к центру. Целый час тащился убогий фиакр, запряженный клячей, по каменной мостовой, от северного вокзала до rue St. Roch — возле Place de l'Opéra, где за 5 фр. мне отвели довольно невзрачный номер.

Первое впечатление было не в пользу Парижа. А присмотревшись к своей комнате, я пришел в полное уныние: умывальник без проточной воды, с тазом и кувшином; у одной стены грязный продавленный диван, у другой деревянная кровать и, о ужас, — вершка на четыре короче моего роста.

Позвал гарсона, — тот только развел руками: «У нас все такие, длиннее нет, vous êtes trop grand."

Невольно вспомнился Питер, где в гостиннице на Мойке, возле Большой Морской, за 2 рубля, — те же 5 фр. — можно было иметь очень приличную комнату со всеми удобствами.

И в течение трех недель, возвращаясь поздно ночью домой, я неизменно ругал эту проклятую кровать, укладываясь на ней по диагонали, или поджимая ноги.

Второй сюрприз, который меня ждал к 4 часам дня, когдо я вышел на улицу, чтобы где нибудь перекусить, — это полное отсутствие открытых ресторанов. На больших бульварах числилось около 30 Bouillon-Duval, но все они были заперты, и на столах стояли стулья. Оказывается, что в первом городе мира, после 2 ч. дня и до 6 ½ вечера, туристы должны были помирать с голоду. Но таков уже порядок, освященный традицией. С трудом нашел какую-то конди-

терскую, и на глазах изумленных продавщиц, съел одним махом 6 пирожных.

Парижский «Дюваль» того времени, представлял собою чудесное учреждение, где подавалось меню из сотни блюд от 20 сантимов до 1 франка, где вина стоили от 25 сантимов за бутылку, когда никто не знал что такое vin en carafe, где за три франка можно было наесться до отвалу, дав щедро 50 сантимов на чай.

Те, кто хотел есть скромнее, шли в табльдот Плон, тоже на бульварах, где меню стоило 1 франк 25 сантимов.

Но Париж в начале века славился, конечно, не этой дешевкой. На весь мир гремели Café Américain, Café de Paris, Paillard, Marguerie, Tour d'Argent, и десятки других, где цены были серьезные, куда приезжали поесть любители со всего света, где русские баре пользовались престижем; за ними ухаживали и держали специальных поваров по русской кухне. После первой войны исчезли «Дювали», постепенно сошли в могилу знаменитости как Niel, Marguerie, Voisin, Grand Vatel; другие переделались на второстепенные, или просто на обжорки вроде "Chez Dupon tout est bon."

С моими скромными средствами, — к Парижу осталось всего 1.000 франков, — я не смел и думать, конечно, разгуливать по дорогим ресторанам.

Здесь не было моего родственника с его толстой мошной; да меня, по правде, не так уж и соблазняла изысканная французская кухня. В Питере у Эрнеста, Контана, Кюба, Донона и других, где главными шефами кухни были французы, я за три года академии постиг все тайны французской кулинарии, и легко мог от нее отказаться. Меня интересовал Париж по другому.

И в первый же вечер он меня ослепил. Все показалось таким чудесным, при его газовом освещении. И, конечно, в первую очередь его большие бульвары.

Чего не встретить сейчас — пол века спустя, и что было так ново и невидано тогда у нас в России, это — веселая толпа на улицах, где сплошь да рядом встречалась группа молодых шалопаев, в цилиндрах на головах, во фраках, белых кашнэ, чарных накидках на плечах, спешивших в театры, в кафе-шантаны, к Paillar'у на бульварах. Они шли bras dessus-bras dessous, напевая, отпуская шуточки мидинеткам и барышням легкого поведения.

Тогда не знали никаких ограничений для коммерции этого рода, и отставную добродетель Marthe Richard просто

подкололи бы ножем сутенеры. Куртизанки всех классов были в моде, многие имели свои особняки, великолепные экипажи с чистокровными запряжками, конкурировали в «Буа де Булонь» с дамами света; у «Максима» были в почете, и даже у коронованных особ.

На одну, а может и нескольких из них, сын сахарного короля Лебоди в один год ухлопал 5 миллионов франков!

Франция была богатейшая страна в мире, кредитовала всех и вся, и в том числе Россию, потеряв на этом сотни миллионов золотом после революции.

Несмотря на проигранную войну с Японией, все русское расценивалось во Франции высоко. Шло это еще с прошлого века. С русскими считались, их любили за их широту, разбрасывание денег, за крупные проигрыши в клубах и Монте Карло.

Grand couturiers наживались, главным образом, на русских дамах; лучшими клиентками на rue de la Paix считались русские, а затем немцы. Всюду на дверях ювелирных магазинов на первом месте стояло: «говорят по-русски», затем уже — "man spricht Deutsch", и в последнюю очередь — «инглиш спокен».

Никто не думал: вот придут американцы, или англичане, но твердо знали, что «бояр рюсс» — не подведет. Так было в Париже, так было на Ривьере.

До сих пор еще красуется письмо Великого Князя Владимира, дяди Николая 2-го, владельцу парижского ресторана "Tour d'Argent", вставленное в рамку и вывешенное в холле, где он сожалеет, что не может приехать в Париж, как обещал и "être avec vous, parmi vous".

***

Великий Князь Владимир Александрович (дед ныне здравствующего Великого Князя Владимира Кирилловича) долгое время командовал войсками гвардии и Петербургского военного округа. Высокого роста, очень красивый, с громким грассирующим голосом, доброжелательный, всегда ровный, он пользовался популярностью и даже любовью, не в пример сменившему его на том же посту 26 октября 1905 года Великому Князю Николаю Николаевичу.

Рассказывали, что Великий Князь Владимир, посетив однажды, в сопровождении своей супруги Марии Павловны

гатчинский лазарет, обращался к каждому больному, шутил, осведомлялся чем болен. И вот, увидя бледного солдата, с явно выраженным типом поляка, спросил неожиданно:

— А у тебя что?

— Не могу знать, Ваше Императорское Высочество, какая-то сыпь.

— Подыми ка, братец, рубашку приказал Великий Князь; Маша отвернись!

Верховный Главнокомандующий в Великую Войну, Николай Николаевич был совершенно иного порядка. Кончив Николаевское Инженерное Училище, а в возрасте двадцати лет в 1876 году — Николаевскую Академию Генерального Штаба, с серебряной медалью, Великий Князь считал себя авторитетом во всех отраслях военного обучения и строевой службы. Тем более, что он проделал еще Турецкую кампанию, где получил Георгия 4-й степени и золотое оружие. Для подчиненных от самого младшего, до убеленного сединами генерала, — это был грозный начальник. Готовясь к смотру, все заранее трепетали, не зная, что может не понравиться Генерал Инспектору Кавалерии, а позже Главнокомандующему войсками гвардии.

Великий Князь разносил грубо, не считаясь ни с чином, ни с высоким положением. Повидимому, грешил он иногда и в смысле такта.

Мой приятель, французский полковник Генерального Штаба Крос, прикомандированный в 1907 году, для стажа к 27-й артил. бригаде, на летние сборы в Вильне, рассказал мне позже, о приеме Великого Князя Николая Николаевича во французском военном министерстве за год, или два перед войной, когда Великий Князь приезжал в Париж, для обсуждения в Генеральном Штабе будущего плана войны. Крос говорил немного по-русски, и ему, поэтому, было поручено устроить парадный обед. У приближенных Великого Князя навели справки, что он любит, что он пьет, что курит. Крос сбился с ног, сам лично ездил в Régie за лучшими сигарами, казалось, все предусмотрел.

Обед проходил великолепно; вероятно были тосты; к концу, Великий Князь обратился к Начальнику французского Генерального Штаба:

— Быть может, можно теперь закурить?

Крос дал знак, и лакей поднес Великому Князю на выбор 2 или 3 ящика гаванских сигар.

Высокий гость взглянул на коробки, обернулся к сзади стоявшему в течение всего обеда конвойцу и спокойно произнес:

— Дай-ка мне, братец, лучше мои.

Казак вышел, принес ящик, Великий Князь выбрал сигару, обрезал не торопясь, и закурил. Бедный Крос был очень сконфужен.

7 марта 1917 года, в штабе Брусилова в Житомире, куда я приехал, откомандовав 275 Лебединским полком, в оперативное отделение принесли копию телеграммы с Кавказа, посланную Государю: «Коленопреклоненно прошу Ваше Императорское Величество, для спасения Родины, отказаться от прародительского престола. Николай.»

Все находившиеся в штабе офицеры, не веря своим глазам, были потрясены. Брусилов, не колеблясь, подписался. Рузский — за ним; Эверт и Сахаров воздержались.

***

Сделав довольно длинное отступление, продолжаю свои воспоминания о моем пребывании в Париже.

В продолжении двух недель я успел многое осмотреть: посетил Нотр Дам, Лувр, Карнавале, музей Клюни с его двумя поясами невинности — "ceintures de chasteté", несколько театров, Фоли Бержер, кое-какие злачные места, дабы вернувшись домой, было чем похвастаться и что порассказать.

В моде были Мулен Руж с его канканом, здесь подвизалась знаменитая «Гулю», и затем «Аббатство Телем». В отличие от теперешних ночных кабачков, в роде «Шехерезады», «Монсеньеров» и других, где в потемках тянут шампанское и на пятачке, под негритянскую музыку, парочки жмутся в фокстроте, учреждение в роде«Аббатства Телем» являло совершенно исключительное зрелище. Огромный зал был освещен тысячами электрических ламп, было светло, как днем; все кипело и жило, веселилось, пело, кричало, танцовало залихватские матчиши и кэквоки под легкую музыку без барабанов, свистулек и чудовищных гобоев. То же было в «Бал Табарен».

Монмартр ночью кипел, все «буат де нюи» были перепол-

нены, вышибалы у дверей не хватали прохожих за фалды и не зазывали к себе на перебой.

Монпарнас еще не существовал в то время, и Монмартр почти не знал конкурентов.

Вот каким я видел веселящийся Париж в 1906 году. Однако одиночество меня стало удручать, а главное заметно стала уменьшаться свободная наличность. Расчет 20 франков в день, оказался не состоятельным; приходилось тратить до тридцати, а иногда и больше, в зависимости от случайных знакомств.

Надо было двигаться дальше. Ницца, куда я приехал, встретила путешественника не очень приветливо. Шел снег, было холодно, снег таял; приходилось шлепать по жидкой грязи в легких башмаках.

Сняв у вокзала дешевую комнату и подсчитав, что осталось в кармане только 500 франков, решил здесь устроить свою штаб-квартиру, и отсюда ездить в Канн и Монте Карло, возвращаясь на ночлег в Ниццу. На Монте Карло я особенно рассчитывал, ибо в случае выиграша в рулетку, смог бы продлить свое путешествие, и раньше срока на новую службу, в штаб Виленского Округа, не возвращаться.

Разочарование не замедлило весьма быстро наступить. На второй же день, проиграв половину своих скудных средств, мне оставалось только бродить по залам и с завистью смотреть на счастливцев, бросавших на номера золотые сто франковые пляки, или наблюдать за старухами, ставившими тресущимися руками 5 франковые серебряные монеты.

Как все это было не похоже на теперешнее казино, куда допускаются мужчины в рубашках на выпуск, без галстухов, женщины, неряшливо одетые, с лоснящимися от специального крема физиономиями.

В казино пропускали игроков с разбором; вечером почти все мужчины были в смокингах, светские дамы, красивые демимонденки в вечерних платьях, бриллиантах. Игра велась в неслыханном масштабе; выигрывались и проигрывались сотни тысяч золотом; называли счастливцев, срывавших рулетку, а через несколько дней спускавших все до копейки. Неудачники проигрывали целые состояния и кончали, случалось, самоубийством в прилегающем парке. Специальная бригада без шума, тайком, хоронила их ночью.

Россияне внесли солидную лепту в кассу знаменитого

казино и были, пожалуй, самыми желанными гостями, как и на всей территории французской республики.

Послав в Питер депешу своему родичу Николаю: «Переведи по телеграфу сто рублей», и не дождавшись ни денег, ни ответа, я покинул очень скоро лазурные берега, сел в поезд, промчался, не останавливаясь, через Геную, застрял на сутки в Милане, на день в Вене, и очутился в Берлине, со ста франками в кармане.

В Милане успел подняться на миланский, как из кружева сделанный ажурный собор; подивился, что на крыше этого чудного храма было устроено несколько, с позволения сказать, отожих мест; пробежал по галлерее Бреа. В Вене счел долгом посмотреть известный ресторан Захера, посещавшийся коронованными особами и австрийской знатью.

«Ринг» показался пустынным и менее интересным, чем Невский проспект и Морская, а собор святого Стефана менее импозантным, чем наш Исакий. Берлин пролетел мимо и к Варшаве я подъезжал, умирая с голоду.

Не теряя времени, взял первый курьерский поезд, и с какими то грошами в кармане, — только-только на извозчика, — вернулся к тихой пристани, в Петербург, прямо на квартиру своего благодетеля.

«Блудный сын» был встречен горячо, со смехом и шутками, и тотчас же получил сто рублей, которые не пришлось монтекарловским крупье грести лопатой себе под руку.

СЛУЖБА В ВИЛЕНСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ. НАЧАЛЬНИКИ, СОСЛУЖИВЦЫ, ЗНАКОМЫЕ.

Прошел праздник, наступили будни. Надо было снова начинать службу Его Императорскому Величеству.

Виленский военный округ, в штаб которого я перевелся, покинув Туркестан, являлся вторым, после Варшавского, по своему значению на территории Российского Государства. Граница с Германией, его войска должны были первыми, в случае войны, открыть военные действия. Так оно впоследствии и произошло, когда армия Ренненкампфа, после короткой мобилизации, вторглась в пределы Восточной Пруссии в 1914 году.

Штаб состоял из нескольких отделений, во главе их находились офицеры Генерального Штаба; и также отделов, где работа была поручена офицерам не академикам, имевшим специальную штабную форму, с красными околышами на фуражках, и носившим кличку «краснокожие». В отместку, генштабисты презрительно назывались «моментами».

«Момент назрел» — любили говорить профессора в Академии на лекциях Истории Военного Искусства, описывая сражения, где великие полководцы — Ганнибал, Юлий Цезарь, Наполеон угадывали момент, дабы нанести противнику решительный удар. Отсюда и пошла эта кличка — «моменты».

Во главе штаба стоял генерал Рузский, болезненный, геморроидальный старик, не обходившийся без сестры милосердия еще в Японскую войну. Он считался хорошим стратегом и сделал блестящую карьеру в большую войну, где под конец командовал Северным фронтом. В момент революции он, подобно Брусилову, подписался под телеграммой Великого Князя Николая Николаевича, просившего Государя отречься от престола.

Бедный Рузский закончил трагически свое земное существование. Ранней весной 1918 года, в самом начале гражданской войны, он, в числе 140 человек, с Радко-Дмитриевым, генералами, офицерами и лицами старой аристокра-

тии, был арестован в Пятигорске. Их всех раздели, оставив лишь нижнее белье, отвели, по снегу, в стужу, за несколько верст, к подножию Машука; одного за другим рубили шашками и бросали в вырытую яму. Когда большевики были изгнаны с Кавказа, могилу разрыли, трупы похоронили со всеми почестями, предварительно их сфотографировав. Как иллюстрация зверства большевиков фотографии Рузского и Радко Дмитриева были выставлены в Штабе Главнокомандующего Белой Армией Деникина.

Рузского, на посту Начальника Штаба Виленского Округа, после Литвинова, сменил Сиверс. Это был представительный генерал, человек довольно безцветный, но с очень властной женой, которая командовала и мужем и его штабными. Она любила приемы, их обязательно должны были посещать офицеры генерального штаба; нерадивые рисковали своей аттестацией; «краснокожих» она игнорировала. На войне Сиверс выдвинулся до Командующего армией, но продержался недолго, и за разгром в Августовских лесах 20-го корпуса, входившего в его X армию, был отчислен в резерв чинов.

В конце февраля 1915 года, в приемной Главнокомандующего Западным фронтом, куда я был вызван для доклада, как единственный офицер Генерального Штаба, не сдавшийся в плен в Августовских лесах, Сиверс бросился мне на шею и зарыдал как ребенок, доказывая, что он к гибели 20-го корпуса совершенно не причастен.

В 1909 году, Сиверса сменил на посту Начальника Штаба — Генерал-Квартирмейстер того же Штаба Преженцов.

Назначение Преженцова было совершенно непонятно и неожиданно. Говорили, что он выслужился у Мадам Сиверс и был всецело ей обязан своим назначением. Это был неприятный, мстительный человек, с большим самомнением, интриган, известный только тем, что в чине полковника издал карты Польши крупного масштаба с заголовком: «Издание Преженцова и Кайгородова». На этих картах в полках делались тактические задачи, и польские названия некоторых деревень неизменно приводили молодежь в веселое настроение. Руководитель говорил:

— Поручик, Ваша рота заняла на ночлег Серадзь, разъезды противника замечены у деревни Высерадзь, что Вы будете делать?

— Я выставлю сперва на опушке Серадзя сторожевое

охранение, господин Полковник, и утром атакую Высерадзь.

Общее оживление и смех.

Преженцова не любили, и иначе, как «Дунька», за глаза не называли. Женат он был на очень моложавой, красивой и гостеприимной женщине. Она любила приемы, любила немного пофлиртовать, но до смерти боялась своего мужа. На пасхальном приеме Мария Александровна мило угощала визитеров и кокетливо говорила:

— Возьмите этот апельсин — это вкусно.

Случилось, что проезжая, однажды, по улице в казенном экипаже, она увидела влюбленного в нее «момента», и предложила прокатиться. На беду, «Дунька» раньше времени вышел из Штаба и увидал свою жену. Бедная Мария Александровна, со страху, чуть не вывалилась из коляски. А офицеру, на следующем у них приеме, Преженцов, в присутствии жены, грубо заявил:

— Я покорнейше Вас прошу у нас больше не бывать!

В те же самые годы, во главе 3-го армейского корпуса стоял генерал Ренненкампф. Так как все высшие назначения в округах делались по представлению Командующего войсками и с доклада Начальника Штаба, Преженцов считал свою позицию выше поста корпусного командира, и при всяком удобном случае старался сделать какую нибудь каверзу Ренненкампфу.

Друг ко другу они питали жгучую ненависть, и как только Ренненкампф в 1913 году был назначен Командующим войсками того же округа, он немедленно отчислил Преженцова. В отличие от общего правила, Преженцов вместо корпуса получил пехотную дивизию. С этой дивизией, — включенной в армию Самсонова, он вышел на войну и закончил свою военную карьеру в немецком плену, где, кажется, и умер.

***

Служба в Штабе, особенно в мобилизационном отделении, куда меня назначили, была совершенно мне не по душе. Стоило учиться в Академии, чтобы с 10 час. утра до 4 дня ежедневно считать какие-то телеги, лошадей, запасных солдат, которые, к такому-то часу, из такого-то уезда, волости и деревни должны были прибыть на сборные пункты. И затем вносить в журнал входящие и исходящие бумаги; — это мог делать любой чиновник, или «краснокожий», без

специального образования. И я только и мечтал, чтобы при случае перевестись в Штаб корпуса или дивизии, для более интересной полевой службы.

Перспектива превратиться в Куртелиновского, "rond de cuir" мне совершенно не улыбалась.

В начале 1907 года в Вильну приехал из Сибири генерал Ренненкампф. Встреча с ним была самая сердечная, и он немедленно мне предложил место старшего адъютанта в Штабе 3-го корпуса — его корпуса, расположенного в Вильне.

Ренненкампф совершено не изменился за четыре года; я его видел в последний раз перед Японской войной в Борисове, где он командовал Отдельной Кавалерийской бригадой. Он остался, несмотря на ранение на войне, таким же жизнерадостным, полным энергии, здоровым и исключительно выносливым, как и раньше. К его двум георгиевским крестам, за Китайский поход 1900 года, прибавилось только георгиевское золотое оружие, Анна на шею и пожалованный пожизненный мундир Забайкальского казачьего войска. Будучи сам офицером Генерального Штаба, Ренненкампф неизменно носил теперь казачью форму с желтыми лампасами, и вскоре в войсках его иначе как «желтая опасность» не называли. Он это знал, и этой кличкой гордился.

Моя 4-летняя служба с таким талантливым учителем и военным, как Ренненкампф, явилась для меня прекрасной школой для всей моей дальнейшей карьеры офицера Генерального Штаба. Она помогла мне быть военным корреспондентом «Нового Времени» на трех войнах — итальянской и двух балканских, а на великой войне — не теряться ни при каких обстоятельствах.

Кипучая деятельность Павла Карловича Ренненкампфа началась с первых же дней его командования. Он поставил себе целью довести подготовку своего корпуса к будущей войне до такой высоты, чтобы корпус этот был лучшим в целом округе, чтобы все полки, как пехотные, так и кавалерийские, в соревновании друг с другом, были сверх отличными в стрельбе, маневрировании, и знали, начиная от солдата до старшего командира, что придется делать, чтобы побить немцев в возможной будущей войне.

И он этого достиг. О 3-м армейском корпусе знали далеко за пределами округа, знали в Петербурге; о Ренненкампфе узнал Государь.

Флигель-адъютанты, князья Белосельский-Белозерский и Долгорукий, командовавшие по очереди 3 драгунским

Новороссийским полком в Ковне, создали Ренненкампфу блестящую рекламу. И в 1913 году, за год до Великой войны, Ренненкампф, несмотря на все препятствия Сухомлинова — военного министра, получил золотые аксельбанты генерал-адъютанта Его Величества и пост К-щего войсками Округа.

Дольше 3-4 дней Ренненкампф не мог усидеть на месте. Зайдет бывало в свой штаб, поздоровается со всеми, выслушает доклад н-ка Штаба Чагина и затем скажет:

— Собирайтесь, в три часа едем к гусарам.

Гусары — 3 Елизаветградский полк — стояли в Мариамполе, в одном переходе от германской границы, против личного имения Кайзера «Роминтен», куда тот ежегодно ездил на охоту.

На ближайшей железно-дорожной станции Вильковишки полковой экипаж уже ждал приезда командира корпуса. Двадцать верст по стратегическому, ровному как скатерть шоссе, тройка проносила чуть ли не в час, и подкатывала к офицерскому собранию, где на крыльце уже стоял командир гусарского полка с адъютантом и дежурным по полку.

Офицеры ждали в большой гостинной. А в столовой суетились солдаты-лакеи, накрывали стол к ужину, несли закуски к водке, в ведрах со льдом красовались бутылки с шампанским. Русское гостеприимство требовало, чтобы почетный гость не лег спать с пустым желудком. Гость это знал, и, за дружной беседой, «тянувшейся далеко за полночь», ел и пил не меньше любого корнета.

Первое время, пока его хорошо не узнали и к нему не привыкли, держали себя с Ренненкампфом очень сдержанно, отвечая: «так точно, никак нет». Его Георгиевские кресты и золотое оружие, желтые лампасы, зычный голос, богатырское сложение — вызывали зависть и уважение.

Но спустя год, молодые офицеры носили его чуть ли не на руках, солдаты любили, и чувствовали, что это настоящий командир, — «за ним не пропадешь».

В один из приездов в тот же гусарский полк, когда уже основательно влили в себя и начались неизбежные тосты, однажды выскочил из-за стола бравый штабс-ротмистр Небо, и, встав против Ренненкампфа, заговорил:

— Ваше Превосходительство, я не «мыловар», и потому смело заявляю, что мы все Вас искренно любим, верим Вам и знаем, что с Вами, весь наш полк, куда бы Вы нас ни повели, пойдет с радостью и без колебаний...

Говорил недолго, но искренно, говорил что думал и, бу-

дучи очень хорошим офицером, и притом богатым, не заискивал перед своим корпусным командиром.

Ренненкампф, привыкший уже, что ему курят часто фимиам, был все же удивлен и даже сконфужен, когда вслед за Небо, встал со своего места сам Начальник дивизии, генерал лейтанант Шейдеман, и с дрожью в голосе, начал:

— Ваше Превосходительство, я тоже не мыловар, но смею Вас заверить, что вся моя дивизия, как один человек, по одному Вашему слову... и пошел, и пошел кадить долго и основательно.

Павел Карлович слушал, опустив глаза, и поблагодарил, когда тот кончил, за доверие.

На следующий день когда мы возвращались в Вильну, потягиваясь на кушетке в своем купэ, Ренненкампф со смехом заметил:

— А здорово Шейдеман варил мыло.

Посещая части своего корпуса, Ренненкампф обыкновенно не говорил, что он будет смотреть: будут ли это тактические занятия, или маневр всему полку, отдельному эскадрону, роте или просто проверка действий разъезда, в обстановке военного времени.

Если он приезжал вечером и засиживался за ужином, а потом играл до 2-х часов в карты (он любил винт, и играл очень хорошо), — его совершенно не смущало, покинув собрание, немного вздремнуть, и на рассвете начать смотр.

В 5 часов утра, — на дворе еще темно, — а Ренненкампф уже насвистывает кавалерийский подъем: «всадники, други, в поход собирайтесь»...

На несмелое мое замечание:

— Ваше Превосходительство, ведь можно было бы еще немного поспать, — слышится резкий окрик:

— В гробу выспитесь; зовите дежурного трубача, велите играть тревогу.

И вот сразу забегали солдаты, помчались в конюшни седлать лошадей, полным походным вьюком, заспанные офицеры, не умываясь, кинулись к своим эскадронам.

Ренненкампф стоял уже на плацу, с часами в руках, рядом с ним дежурный по полку офицер, и наблюдал в каком порядке, и как скоро соберется весь полк с командиром во главе, пулеметной командой и обозом. Сбор по тревоге проходил обычно без сучка и задоринки; не явившиеся после

кутежа офицеры отправлялись в тот же день под арест. Затем начинался маневр, или делался пробег в 40-50 верст.

После маневра, тут же в поле собирались все офицеры, и начинался весьма обстоятельный разбор. За одно хвалил, другое бесцеремонно, критиковал, до разноса и выговора в ближайшем приказе по корпусу.

В отличие от большинства старших начальников, все отчеты о своих смотрах Ренненкампф писал лично сам. Было настоящее несчастье расшифровывать для печатания его каракули. Начальник Штаба Чагин беспомощно разводил руками, не понимая ни слова; во всем штабе было только два натасканных специалиста.

***

Елизаветградский гусарский полк был одним из лучших полков 3-й кавалерийской дивизии. Ренненкампф, в недалеком прошлом, сам Ахтырский гусар, к нему особо благоволил. Но в один прекрасный день у Елизаветградцев произошло ужасное событие. Зверски был убит Командир полка барон Крюденер. Убит в своей постели, зарубленный его собственной шашкой.

В 7 часов утра к адъютанту Штабс-Ротмистру Пономареву вбегает перепуганный денщик Крюденера.

— Ваше Благородие, наш командир убитый. Так что я пошел будить Его Высокоблагородие, а они лежат весь в крови.

Адъютант бросается в дом своего командира и не верит своим глазам; — они вчера только втроем ужинали здесь, в квартире: барон, он и ротмистр Нереновский.

В спальне на постели, окровавленный, с открытыми от ужаса глазами, со скрюченными, надрубленными во многих местах руками, тремя отрубленными пальцами, лицом, исполосованным шашкой, лежал труп командира полка.

На залитом кровью ковре валялась окровавленная шашка, а на ночном столике лежал браунинг.

Первое впечатление, при осмотре квартиры, где в кабинете барона и будуаре баронессы, были открыты ящики и все перерыто, указывало на истинные мотивы преступления. Непонятно было лишь зверство и остервенение, проявленное грабителем. Явился военный следователь, начался основательный допрос денщика, стали восстанавливать картину преступления. Ничего не нашли. Денщик твердил все одно

и то же. Что он ничего не слышал, ничего не знает. Обыскали весь полк, опросили всех дежурных, — никто ничего не видел и не слышал. Следователь уехал.

Не успокоились только командир І-го эскадрона Нереновский и полковой адъютант. Они нередко замечали и теперь вспоминали с какой ненавистью смотрел денщик иногда на своего командира, когда тот его за что-нибудь ругал, и при этом щелкал по носу пальцем.

В течение нескольких дней Нереновский допрашивал солдата и так его замучил, что тот наконец сознался:

— Нечего запираться, Ваше Высокоблагородие, я убил командира, и я взял вещи. И все подробно рассказал.

В ту ночь, после ужина, когда командир ушел к себе и солдат услышал, что он спит, он тихо прокрался сперва в будуар баронессы — она находилась у себя в имении, — взял все, что нашел из драгоценностей, затем заглянул в спальню своего барина. Барон спал; в спальне было темно. Солдат начал искать золотой портсигар и часы, которые всегда лежали на ночном столике.

В это время Крюденер проснулся и закричал: «кто тут», и зажег свет. Перепуганный денщик бросился к стене, где висела коллекция оружия, схватил кавказскую шашку командира и, прежде чем тот успел протянуть руку к револьверу, солдат нанес ему первый удар. Затем, видя, что все пропало, в иступлении начал рубить своего командира. Тот пытаясь, видимо, вырвать у солдата шашку, порезал себе до костей руки, получил несколько смертельных ран и скончался.

Денщик ушел к себе, тщательно вымылся, переменил забрызганный кровью мундир, зарыл в землю вещи, открыл в спальне окно, чтобы симулировать преступление, и через 3 часа побежал к адъютанту.

На следствии он держался смело, и все твердил, что он убил своего командира потому, что «их Высокоблагородие надо мной всегда измывались», и указал, где были спрятаны вещи. Командир корпуса конфирмировал приговор полевого суда: солдат был расстрелян взводом своего экадрона. После чего, на полковом плацу в вырытую яму бросили его труп, яму засыпали, и весь полк прошел церемониальным маршем над его могилой.

В том же гусарском полку случилась однажды совершенно невероятная история.

Поручик 3-го эскадрона Старицкий, скромный, хороший

офицер, не плохой служака, страдал одним недостатком — любил выпить. Особенно он любил холодную водку, под хорошую закуску. А какой гусар этого не любил?

Только у Старицкого все выходило довольно глупо: он, что называется был на взводе, еще не садясь за стол. Про него и сострил, однажды, Оболешев: «Старицкий уже к супу не годится».

Генерал Оболешев, его начальник дивизии, сам был если не пьяницей, то во всяком случае серьезным служителем Бахуса. Он хорошо рассказывал анекдоты, еще лучше играл в карты; говорили, что однажды, в молодости, играя в «железку» в Купеческом клубе, он снял банк в 100 тысяч рублей, и с тех пор бросил навсегда азартную игру и перешел на винт. Служба его не тяготила, он ею не увлекался; но с Ренненкампфом шутить было нельзя, особенно старшим начальникам, и он ушел скоро в отставку.

Елизаветградский полк справлял свой полковой праздник. Собрались старые гусары, служившие в полку, был приглашен Сувалкский губернатор, командиры вблизи расположенных полков, и конечно, генерал Оболешев со своим штабом. После торжественной службы в полковой церкви, церемониального марша и здравиц за Императорскую фамилию и старших начальников, гости прошли в собрание. Началось пиршество, играли трубачи, было уютно, весело, непринужденно, как всегда на полковых праздниках.

Подальше от начальства, в конце стола, сидел поручик Старицкий и возле него, случайно, оказался подполковник интендант 3 кавалерийской дивизии, симпатичный, серьезный человек, с усами и длинной бородой.

Старицкий, уже основательно заложивший за галстух, начал ухаживать за интендантом, подливая ему все время водку и шампанское и, под конец завтрака, выпил с ним на брудершафт. Неожиданно Старицкому пришла в голову, «блестящая» мысль. Он встал из-за стола, вышел из столовой, затем вернулся и сел на свое место.

Воспользовавшись минутой, когда интендант начал клевать носом, Старицкий, вытащил из кармана громадные ножницы и — раз! — отхватил интенданту его бороду. Тот очнулся, дико закричал, полез в драку. Общий скандал.

Сконфуженный и возмущенный командир полка немедленно отправил Старицкого под арест; оскорбленный интендант поспешил покинуть собрание.

Через два дня состоялась дуэль. Убитых и раненых не

оказалось, но Старицкого попросили уйти. Для гусарского полка, имени Ее Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны, он не годился.

**
*

В течение моей четырехлетней службы в штабе Ренненкампфа, во главе этого штаба стояли сперва барон Икскуль фон Гильденбанд, затем Владимир Александрович Чагин.

Худой, высокий, очень породистый, всегда спокойный, полу-немец, полу-русский, барон Икскуль терпеть не мог военного дела, в штаб заходил часа на полтора, около полудня, подписать бумаги, а затем шел в Георгиевскую гостинницу завтракать. Это был наиболее посещаемый отель города, в нем останавливались все богатые польские и литовские помещики; он славился своим прекрасным, очень не дорогим ресторaном, а главное — квартетом талантливых музыкантов, окончивших консерваторию. Рояль, фисгармония, скрипка и виолончель производили эфект целого оркестра; и, в зависимости от присутствующей публики, квартет исполнял очень серьезные вещи, до симфоний включительно, или развлекал кафе-шантанной программой.

Барон почти всегда находил в Георгиевской приятелей помещиков, — у него самого было прекрасное имение возле Свенцян, — засиживался с ними часами, потягивая свой излюбленный Niersteiner.

Вечера он неизменно проводил в Дворянском клубе, где играл в карты, ужинал и продолжал пить свое немецкое вино. Он долго не мог выдержать характера своего беспокойного начальника и, хотя Ренненкампф никогда его не тревожил, не заставлял носиться с ним по смотрам и маневрам, барон скоро ушел в отставку и поселился в своем имении.

**
*

На смену явился Владимир Александрович Чагин, только что откомандовавший пехотным полком в той же Вильне.

Забавный чловек был этот Чагин. Точно в 9 часов, открывалась дверь, и в штаб входил высокий, здоровенный, с круглым лицом, усыпаным веснушками, и неизменной дешевой сигарой во рту, Начальник Штаба:

— Здорово писаря!

Затем обходил отделения, любезно пожимал руки офицерам, шел в свой кабинет, и принимал доклады по строевой, а затем хозяйственной части.

К 12 часам, он неизменно подходил к телефону, крутил ручку и нежным голосом, совершенно не подходящим к его грузной фигуре, произносил:

— Это я, начальник штаба; Суса это ты? Я не слышу, это ты? А что к обеду?

Поговорив со своей женой Сусанной Петровной, Чагин довольный, возвращался в свой кабинет, где дым стоял столбом от его Лафермовских сигар. Не зная, чем заняться (доклады были приняты), он что-то просматривал, затем к часу дня входил радостный к нам в отделение, прощался и произносил:

— С миром изыдем.

При посещении Штаба Командиром Корпуса, Владимир Александрович принимал необыкновенно деловой вид, и всей свой фигурой показывал, что он завален работой. Особенно он суетился на маневрах, хотя и там у него работы было не много: директивы шли от Ренненкампфа, диспозиции писал штаб-офицер Радус Зенкович, и он же большей частью, все доклады делал непосредственно командиру корпуса. Чагин только присутствовал и вставлял свои замечания.

Как то, во время перерыва на маневрах, мы сидели у себя в «халупе» и после обеда тянули бенедиктин, запивая его кофе. Я без церемонии пошел к Ренненкампфу, и пригласил его. Через пол часа входит Чагин, останавливается на пороге в недоумении, от приглашения отказывается и уходит.

Затем вызывает меня к себе и мягко, — он никогда не возвышал голоса, — выговаривает, что на маневрах пить не полагается, особенно «спаивать» командира корпуса и торжественно заканчивает:

— Рюмка белого вина... и светлая голова.

Эта сакраментальная фраза сделалась настолько популярной, что все, кто о ней слышали, не могли без улыбки уже отделить Чагина от рюмки белого вина и свежей головы. А каррикатура, нарисованная с необыкновенным талантом, капитаном Гончаренко, в эмиграции генералом и писателем, под псевдонимом Галич, каррикатура Чагина с рюмкой вина и светлой головой, — ходила в Вильне по рукам.

Над добрым, беззлобным Чагиным не мало подтрунивали. Говорили, что будучи здоровяком гимназистом 5-го

класса, он так страдал головными болями, что доктора попросту послали его в публичный дом. Другого средства они не нашли; и он регулярно, каждую субботу, получал от отца по одному рублю.

Супруга милейшего Владимира Александровича, довольно интересная дама, хорошо сложенная, не глупая, немного косящая, что не отнимало у нее известного шарма, Сусанна Петровна немного флиртовала, но делала это вполне прилично; повидимому оба были довольны друг другом. Она получала цветы от земского начальника грузина Мачутадзе, красивого наглого брюнета; бывала у Шумана с Губернатором Любимовым, где ела устрицы; часто прогуливалась по Георгиевскому проспекту с директором польского банка. Этот длинноносый поляк помогал Сусанне Петровне подрабатывать на бирже, и был наиболее усердным ее поклонником.

Встречая мадам Чагину на улице, в военном собрании, или у ее приятельницы княгини Щербатовой, можно было заранее сказать, что она заговорит о Ялте.

— Ах, я еду скоро в Ялту. На бархатный сезон я непременно буду в Ялте проходить виноградное лечение.

И ездила действительно, почти каждый год.

**
*

Княгиня Щербатова появилась в Вильне в конце 1908 года. Старый князь, широкий русский барин, вдовец, бездетный, командовал корпусом в Гродне. Выйдя в отставку, он прожил недолго, но перед смертью успел жениться на своей экономке, оставив ей деньги, богатую обстановку и громадное имение в Пинском уезде с болотами и лесами.

Вновь испеченная княгиня быстро сообразила, что литовская столица более интересна, чем провинциальный, незначительный Гродно, переехала в Вильну, сняла большую квартиру и повела очень светский образ жизни. Это была не глупая женщина, полька, большая, полновесная, с пышной грудью и поверхностным образованием.

Все эти подробности были, однако, вскоре забыты, благодаря ее гостеприимству, хорошему повару и старым винам из погребов покойного князя.

Большие обеды, на 10-12 персон, чередовались с малыми интимными приемами — «парти-каррэ», где бывали только

свои, и непременно Чагина, с одним из своих поклонников. Дамы общества, за исключением Сусанны Петровны, ее игнорировали, считая кухаркой и — «парвеню». Мужчины не обращали на такие тонкости большого внимания и с удовольствием у нее пили, ели и веселились.

Виленский губернатор и сам Командир Корпуса, будучи почетными гостями на парадных обедах, не скупились на комплименты и не стеснялись рассказывать веселенькие анекдоты.

Димитрий Николаевич Любимов, заметив, однажды, на балу, как Щербатова пристраивала к своему декольте красную гвоздику невольно воскликнул:

— А я и не подозревал, что цветы могут расти на вулкане.

Княгиня нисколько не обиделась.

Людмила Ивановна, губернаторша, уже будучи в Париже в эмиграции, вспоминала смеясь, что ее муж, собираясь на «малый прием», неизменно говорил: «Ну, я иду к моим девочкам».

* * *

Виленский губернатор Димитрий Николаевич Любимов сделал блестящую карьеру. Получив звание сенатора, пройдя стаж директора департамента в министерстве Внутренних Дел, в большую войну он уже занимал пост помощника Варшавского Генерал-Губернатора.

Это была колоритная фигура на фоне виленского общества. Неизмено веселый, жизнерадостный, он пользовался общими симпатиями не только среди своих соотечественников, но и в польских и еврейских кругах. Жена его Людмила Ивановна, была ему отличной парой, и занимаясь благотворительными делами, донесла свою деятельность до берегов Сены, помогая обнищавшим эмигрантам в Париже дешевыми обедами и почти даровым ночлегом.

Их ежегодные балы в казенном губернаторском доме в Вильне, были одним из самых блестящих событий сезона. В праздники Пасхи и Нового Года, визитеры толпились в салоне Людмилы Ивановны и весь он утопал в цветах. Держала она себя довольно просто, болтала без умолку, но ни на минуту не забывала, что она губернаторша.

Димитрий Николаевич не стеснялся ухаживать за дама-

ми, развлекал Чагину, отдыхал в обществе актрисы Саранчевой.

Саранчева, красивая, молодая, покорившая сердце первого чиновника губернии, — premier magistrat du Departement — входила в труппу, приезжавшего на зимние сезоны, театра. Она прекрасно играла драматические роли, театр был всегда переполнен, ей подносили цветы и подарки, за кулисами возле ее ложи торчали поклонники. Димитрий Николаевич не пропускал ни одного представления.

Возвращаясь как то с моим приятелем из дворянского клуба ночью зимой, после удачной игры, мы увидели, что рядом с Острой Брамой пылает пожар. Горела гостинница. Бросились туда. На улицу высыпали полураздетые жильцы, пожарные пустили в ход шланги; вскоре приехал сам губернатор и деятельно принялся руководить операцией.

Вдруг, на балконе второго этажа показалась в нижней юбке, с распущенными волосами, обезумевшая от страха сама Саранчева. Димитрий Николаевич, увидя свою пассию, растерялся, заволновался, забегал взад и вперед, и, простирая к небу руки, с мольбой повторял:

— Моя неравненная, дорогая Анна Сергеевна.

Затем кинулся к пожарным.

— Лестницу, лестницу, тащите лестницу; и снова к Саранчевой:

— Дорогая моя, спускайтесь по лестнице не бойтесь, спускайтесь.

Но та, заломив руки, продолжала кричать.

Наконец, дюжий пожарный лезет на верх, хватает примадонну и тащит к себе; она упирается, боится. В конце концов ее спасают. Обрадованный губернатор целует ей руки, успокаивает и везет на извозчике в другую гостинницу.

Действительный тайный советник сенатор Любимов свое земное существование закончил в Париже, перед приходом немцев; закончил его в тяжелых страданиях.

Одно время он старался что-нибудь делать, открыл даже в 16 аррондисмане клуб с бриджем и лото; кажется прогорел; затем начал постепенно увядать, терять память. Русский доктор, приходивший его лечить от уремии, удивлялся, что Димитрий Николаевич великолепно помнил события своей прошлой жизни, мастерски рассказывал, но совершенно забывал обо всем, что было несколько минут тому назад.

— Милочка, ты дашь мне что-нибудь покушать? обращался он к жене.

— Да ты только что позавтракал.
— Ах, уже позавтракал? удивлялся он.
— Милочка, я пойду за газетой.
— Но, ты ее уже принес.
— А, принес, а я совсем забыл.

Было видно, что он уже долго не проживет. В роковой день, пришел тот же домашний врач, отправился в ванную комнату, взял с полки пузырек, прочитал: валериановые капли, — как раз то, что ему полагалось найти. Налил целую ложку и подошел в больному.

— Выпейте, дорогой Димитрий Николаевич.

Тот выпил, сразу обезумел и начал дико кричать.

Все сбежались. Димитрий Николаевич стонал, держался за живот, хватал ртом воздух. Оказалось, что вместо валерианки, он проглотил нашатырный спирт. Сжег весь рот и внутренности и к вечеру, в мучениях, отдал Богу душу.

Произошло все по нерадивости аптекаря, не переменившего на старом пузырьке этикетку, по недосмотру домашних, и конечно, по невниманию самого врача. Лишенный обоняния, полуслепой, он прочитал: валериан, ну, значит, все в порядке, можно дать.

***

Возвращаюсь к событиям той ночи, когда виленские пожарные отстояли гостинницу и не дали сгореть Остро-Брамскому костелу, с его чудотворной иконой — святыней Литвы.

Пожар медленно утихал; дрожавшие от холода жильцы ждали, чтобы вернуться к себе. Среди них грустно стояла миловидная певичка Шурка Чернова со слезами на глазах. Смотрим на нее и невольно вспоминаем каким успехом она пользовалась в кафе-шантане Шумана, напевая:

«Люблю мужчин я рыжих,
Коварных и бесстыжих,
Они в любви могучи,
Они, как солнце, жгучи...»

и при этом бешено носилась по сцене.

Спрашиваем: «в чем дело?»

— Да, вот я насилу успела одеться, выбежала, а свои золотые вещи забыла в комоде.

Приятель говорит:

— В. Н. пойдем, быть может доберемся до ее номера.

Задыхаясь в дыму, бросаемся в ее комнату, роемся во всех ящиках, но ничего, кроме кремов, пудры и пары кружевных пантолон, не находим. Ругаемся и возвращаемся на улицу, прокопченные, как пасхальная ветчина. Шурка улыбается, просит извинения: ее кольца и браслеты оказались у нее в кармане манто.

Позже и Берлине, в эмиграции, эта шансонетная певичка Чернова, принятая в лучшем обществе, уже называлась графиней Салтыковой.

Перед большой войной известная куртизантка Катя Решетникова сделала еще более блестящую карьеру, выйдя замуж за светлейшего Салтыкова, предводителя дворянства Петербургского уезда, и брак был признан Двором.

***

Продолжаю повествование о моей личной жизни молодого офицера Генерального Штаба в столице прежнего княжества Литовского — городе Вильне.

Среди моих товарищей и друзей часто вспоминаю тех, с которыми особенно сошелся. Среди них: Шеповальников — поручик артиллерии; Кондратьев, Федоренко и Эксе — «моменты»; Шарепо-Лапицкий — «краснокожий».

С первыми двумя я встречался постоянно, с ними ужинал в Георгиевской, играл в карты, ходил к Шуману, ездил за-границу.

Поручик 27-й артиллерийской бригады Шеповальников, прекрасный офицер, отличившийся впоследствии на войне, был избалован судьбою. Отец его интендант, недавно умерший, оставил своему сыну громадное состояние, около четырехсот тысяч рублей. И Саша Шеповальников протер глазки неожиданно свалившемуся на его голову наследству. От Шумана он не выходил, вел, почти всегда с проигрышем, крупную игру в Дворянском клубе, куда члены выбирались по строгой баллотировке. У него была недурная квартира, где, расчетливый в домашних расходах, он давал периодически приемы для немногих приятелей с шампанским, дорогими коньяками, и представлял свою новую фаворитку. У Шумана он считался почетным посетителем, и для него всегда оставлялась свободная ложа перед оркестром. Сам Софрон, — знаменитый метр д'отель Софрон Иванович, —

встречал его с поклонами на пороге прославленного учреждения, и провожал до стола.

Содержательница хора Михайлова, — тоже своего рода знаменитость, — видя Шеповальникова, расплывалась в улыбку, заранее предвкушая отдельный кабинет, 25 рублей в кармане, и шампанское для ее певичек.

Кафе-шантан Шуман с его рестораном, где артиллерийский поручик 27-й артил. бригады в течение нескольких лет делал усилия растрясти интендантское наследство, был в довоенной России не менее почитаем, чем московский — Яр, петербургский — Крестовский, Аквариум и позже — Вилла Родэ.

Ему было отведено место в лучшей части города, в самом его центре, возле Замковой горы, в городском саду. Здесь же рядом находился летний театр и открытая сцена модной в то время французской борьбы.

Летом в саду по субботам и воскресеньям, играла военная музыка, происходило гуляние виленской публики; на открытой сцене здоровенные бабы боролись, обливаясь потом; на террасе ресторана Шумана офицеры Виленского гарнизона, после получки жалованья ели осетрину по-русски. бифштекс по-гамбургски, и пили водку.

К 11 часам ночи, как правило, после театрального представления Шуман был переполнен. Польские помещики, собравшие урожай, или выигравшие в макао в клубе, местная знать, служилая и неслужилая, завсегдатаи, дамы света и полусвета, содержанки, жандармские ротмистра — все знали дорогу к Шуману.

Софрон Иванович — тот же популярный Albert «Максима» в Париже, в течение 25 лет до самой смерти, стоял твердо, как часовой на своем посту, и каждый вечер с достоинством приветствовал дорогих гостей. Он знал в лицо весь город, со всеми был изысканно любезен, каждому отводил место согласно рангу, держал в резерве для влюбленных закрытые ложи, умело и без шума прекращал сдандалы. Когда отставной гусар Фронцкевич, пьяница с попорченным носом, бросился рубить шашкой непонравившегося ему «штафирку», Софрон, не смутясь, схватил его за шиворот и выволок за дверь, отобрав оружие. Два доходных дома в городе свидетельствовали о неоспоримых достоинствах этого замечательного человека.

В сравнении со столичными учреждениями того же порядка, виленский Шуман мало чем им уступал программой

своего кафе-шантанного репертуара и тонкостью своей кухни. Через город ехали в Петербург на гастроли из Парижа, Берлина, Вены, Будапешта, Испании всевозможные знаменитости в области кабаретных аттракционов; многие из них, до начала контракта, останавливались в Вильне и выступали у Шумана, чтобы не упустить случая подработать. Помимо того, старик Шуман, пока был жив, сам вербовал в России и за-границей артистов для своего детища. А будучи первоклассным поваром, поставил свой ресторан и погреб на серьезную ногу.

В конце артистической программы этого «заведения» на сцену неизменно выходила труппа Михайловой, одетая то в малороссийские, то в старопольские костюмы. Кроме немногих мужчин, большинство были молоденькие певички, которые лихо плясали характерные танцы, не плохо пели и пользовались неизменным успехом. Их краковяк с пением и припевом: «яцы тацы, яцы тацы, яцы краковяцы...» вызывал бурю апплодисментов.

К двум часам ночи хор переодевался и ждал сигнала своей хозяйки, чтобы итти петь в отдельные кабинеты для «хорошего гостя».

Гомельская еврейка Цигельман, Михайлова для Шумана, уже стояла у выхода и искала глазами жертву. С необычайной настойчивостью и виртуозностью она уговаривала подвыпившего помещика, или загулявшего офицера заказать хор, доказывая, что это почти ничего не будет стоить, и заманивала в отдельный кабинет.

Михайлова широко эксплуатировала своих хористок, и самых стойких сбивала с пути. В России она не осталась, очутилась в Париже, открыла дешевый ресторан, при котором всегда состояли 3-4 неблагополучных девицы, одно время даже очень известная «Анна Степовая», с ее «песнями улицы», опустившаяся на дно. Судьба Михайлову не пощадила: она погибла со многими несчастными евреями, вывезенными немцами в их Бухенвальды и Равенсбруки.

**
*

Второй мой приятель капитан, а вскоре подполковник, Кондратьев, Владимир Иванович, служил в окружном штабе, в отделе передвижения войск. «Кондратос», как его звали в глаза близкие друзья, а за глаза чуть не вся Вильна — не блистал ни большим умом, ни остроумием, но всегда

был в хорошем настроении, со всеми очень любезен, и отлично ладил с начальством. Среднего роста, худой, как Дон Кихот, с усами à la Вильгельм, с козлиной бородкой и седой прядью волос, он напоминал Мефистофеля из оперы Фауст. Это была его вторая кличка и, видимо, ему льстила. Когда веселое порочное созданье Лелька Попова, в ответ на его очень рискованный жест, хлопнула его по рукам и вскрикнула:

— Ах, поганый Мефистофель!

Кондратьев нисколько не обиделся.

Убежденный холостяк, он довольно равнодушно относился к слабому полу, никогда ни за кем не волочился, был очень расчетлив, но любил посидеть в Георгиевской, где скромно обедал или ужинал, под водку, слушал музыку и порою пил красное вино. Ежедневно, когда он не уезжал в служебную поездку по железным дорогам, его можно было видеть от 5 до 6 вечера на Георгиевском проспекте. Он прогуливался взад и вперед обыкновенно один, по наиболее людной части, затем заходил в кондитерскую и пил кофе с пирожными. Периодически ему попадала вожжа под хвост, примерно, раз в неделю; тогда он шел или к Шуману, или в ресторан Бристоль, где со своим приятелем, путейцем, часами тянул бургунское вино, — свой излюбленный «Помар». По непонятным причинам он совершенно не признавал Бордосского вина, — возможно, что он его даже никогда не пробовал, — и считал, что пить его могут только совершенные невежды.

Войдя однажды в ресторан Георгиевской или, как его все называли, к «Жоржу», Кондратьев заметил своего сослуживца Шарепо-Лапицкого и с ним двух дам, — жену и дочь начальника дивизии Генерала Орлова. Шарепо у них постоянно бывал, его там любили, и вот он их тоже пригласил поужинать и послушать музыку.

Подошел «Кондратос», приложился к ручкам дам, поздоровался с Шарепой, обвел глазами стол; поинтересовался, чем этот «краснокожий» поит генеральшу, взял в руки бутылку, прищурился: «Шато Лафит»? С презрением поставил на место, повернулся в сторону Шарепы и залился сатанинским смехом:

— Бордосское, не мог дать Бургунского!..

Шарепо сконфузился, а он приняв свой обычный мефистофельский вид, повернулся и пошел к себе за стол, продолжая смеяться.

Кондратос очень ценил Шумана; затащить его туда не составляло особого труда; ходил он туда и один, зная что всегда встретит приятелей: или жандармского ротмистра Саттерупа, или же кого нибудь из путейцев. К инженерам путей сообщения он питал особое уважение, встречался с ними по службе, и они ему импонировали. По дороге в это заведение, он уже заранее был радостно настроен и напевал:

— Я до Шумана пхне, с ударением на «а» и на мотив из Веселой Вдовы — «Иду к Максиму я».

Откуда он выдумал это слово «пхне», — чорт его знает.

Не часто, но случалось, что он закучивал, и тогда никакими силами его нельзя было затащить домой, — ему требовалась веселая дамская компания. Всегда одна и та же черномазая девица бежала к нему навстречу, кидалась на шею и весело напевала:

«Ты же моя цыпочка...
сыграй ка мне на скрыпочку,
чудесный музыкант
и дивный твой талант.»

Естественно, что на следующий день Кондратос запаздывал в штаб и ходил мрачный, жалуясь на головную боль. Вечером шел опохмеляться к «Жоржу».

***

Совершенно в другом стиле был Генерального штаба капитан Федоренко, Василий Тимофеевич. Он поздно пошел в академию из Уфимского полка, стоявшего в Вильне: мешали карты.

И он все оттягивал, чуть не до штабс-капитанского чина, тогда как обыкновенно в академию шла молодежь, подпоручики или поручики, после 3-4 лет службы в полку. Это был солидный человек, женатый, хороший семьянин; он очень исправно нес свою службу и никакими кутежами не занимался. У него было занятие другого рода, очень серьезное и весьма прибыльное — карты. В карты он играл до академии, играл в академии, продолжал после академии. Он играл буквально во все игры, и в азартные и в коммерческие. В азартные он скорее проигрывал, коммерческие же ему приносили верный доход.

Во всей Литве, вероятно не было более сильного игрока в открытый винт — его излюбленную игру. В этой области Василий Тимофеевич был настоящий виртуоз.

Играл он очень крупно, смело, не боясь риска. Случались, конечно, проигрыши, но месячный итог представлял весьма почтенную цифру. И если бы он, временами, не «загибал карту» в азарт, то конечно сделал бы состояние.

В Дворянском клубе Федоренко состоял давним почетным членом, и за свои заслуги был даже выбран главным «кавистом» погребов клуба, где хранились превосходные французские вина.

В Вильну специально съезжались со всей Литвы польские помещики, владельцы всяких «майонтков», чтобы только сыграть в винт с москалем, или посмотреть на его игру. Люди осторожные играть с ним боялись. Его постоянный партнер полковник Российский, командир Оренбургского пехотного полка, отдавал Федоренке, вероятно не менее четверти своего офицерского жалованья. Это был тоже сильный игрок, он знал заранее, что обыграть этого крокодила ему трудно, и все же каждый вечер лез на рожон.

В свой шляхетский, как его называли, клуб Федоренко ходил не менее аккуратно, чем на службу. В 8 вечера он был уже в клубе и оставался, как придется, хотя бы до рассвета, пока не выигрывал.

Он жил широко, ни в чем себе не отказывал, и сам сознавался, что проживал не менее тысячи рублей в месяц — оклад корпусного командира.

В день его именин, на Василия Великого, весь генеральный штаб съезжался к нему на завтрак, во главе с самим «Дунькой», пока тот числился в должности генерал квартирмейстера.

Чего, чего только не было наставлено на громадном столе в столовой дорогого именинника. Традиционные пироги, с мясом, и капустой, индейки, рябчики, холодная осетрина, поросята под хреном и жаренные, свежая икра в серебряных ведерках во льду, белые грибы в сметане, дунайские сельди, всевозможные наливки, запеканки, водки и, конечно, шампанское, — ни какое-нибудь «Абрау Дюрсо», но самый подлинный Редерер, или Клико с желтой этикеткой. Пей, ешь, чего душа хочет.

Под конец подовались кофе, ликеры и дорогие гаванские сигары.

Василий Тимофеевич, сам любитель поесть и в меру выпить, умел ублажить своих сослуживцев и дорогих гостей. Жизнь свою В. Т. Федоренко кончил скверно. Его украинская фамилия позволила ему без труда занять значительный пост у самого «гетмана» Павло Скоропадского, в дни, когда после похабного Брест-Литовского мира, создалась «Самостийная Украина». После ухода в конце 1918-го года немцев с Украйны, а в начале 19-го — французов из портов Черного моря, Федоренко находился в Одессе в должности градоначальника. И его как раз застукали здесь в клубе большевики и пристрелили.

В тот же смутный период другой мой товарищ по академии, генерал Андрианов, градоначальник в Киеве, был заколот большевиками в своей гостиннице, на Крещатике.

***

В 1908 году в 3-ем Донском казачьем полку, для отбытия ценза, появился причисленный к Генеральному Штабу подъесаул Забайкальского казачьего войска Эксе. Фамилия, ставшая в то время в России довольно известной, после того как два синих кирасира: Эксе — брат виленского — и Плешков выиграли в Лондоне международный I-й приз на «конкур иппик» и получили из рук английского короля серебряные клубки.

Отец Эксе, жандармский полковник в Вильне, после смерти оставил сыновьям большой доходный дом на Георгиевском проспекте и прекрасное имение под Лидой, приданое своей жены, урожденной графини Маврос. Вероятно для службы в гвардейской кавалерии, все это братьями было заложено и перезаложено; тем не менее Владимир Федорович Эксе располагал еще кое какими доходами, чтобы позволять себе всевозможные фантазии, вплоть до крупных проигрышей в карты.

Своею внешностью Эксе очень импонировал. Высокий, великолепно сложенный брюнет, со слегка оливковым цветом кожи, маленькими черными усиками, с выдающимся подбородком, всегда жизнерадостный и веселый, он невольно обращал на себя внимание и пользвался вполне заслуженным успехом у женщин. Умный, образованный, при том совершенно беспринцыпный и аморальный, он непринужденно себя держал в любом обществе, очень самоуверенно, всегда с чувством собственного достоинства.

Любовью однако он не пользовался; его как то побаивались, зная, что он умеет постоять за себя и не побоится скандала. Взяв одно время на содержание молоденькую, неблагополучную девицу, по прозвищу Ядька, он не стесняясь раскатывал с ней на мотоциклетке по главной улице Вильны. Это было совершенно невиданное зрелище: во-первых, сама мотоциклетка, а затем общество всем известной Ядьки. Случилось, что у Эксе закапризничал мотор. Он остановился, начал осматривать и ругаться, а в это время проходил мимо подполковник Уфимского полка Н., которому, как штаб-офицеру, полагалось — «козырять».

— Подъесаул, — обратился он к Владимиру Федоровичу, — Вы мало того, что не отдаете чести, а еще себя компрометируете.

— Вы видите, что я занят, — огрызнулся Эксе, — а это моя невеста; и я Вас прошу, ко мне не лезть, не советую. Подполковник подал рапорт, дошло до Ренненкампфа; Эксе был объявлен словесный выговр, и только; Ренненкампф, сам забайкальский казак, благоволил Эксе.

Вторая история была посерьезнее. Прехорошенкая гимназистка 5-го класса Катя А. бросила свой родительский дом, свое учение, и поселилась на квартире Эксе. В городе это произвело сенсацию; одни жалели бедную мать, другие эту мать ругали, говоря, что это она дала дурной пример своей дочери, живя на содержании у польского графа Ч.

Эксе был черезвычайно горд своей победой, и менее всего старался скрыть эту связь. Он быстро привил своей новой подруге вкус к веселой безалаберной жизни, кричащим туалетам, ресторанам, театрам. Их часто видели у Шумана, в ложе где возле него бегали лакеи, и сам Сафрон Иванович с достоинством прислуживал и наполнял бокалы.

Эксе явно пересаливал и бравировал своею связью. Холостым офицерам не возбранялось, конечно, иметь «петит ами», но показываться с ними открыто не рекомендавалось.

В генеральном штабе это было особенно строго, равно, как и в гвардии.

Но Эксе вообще на все всегда плевал, с предрассудками не считался, и в один прекрасный день поплатился. Предполагая, что в бенефис известной Саранчевой в театре будет весь город, он специально заказал ложу напротив лож командующего войсками и губернатора. На спектакле присутствовали: губернатор Д. Н. Любимов с женой, а в ложе командующего войсками — его помощник, генерал Мартсон.

Невольно все обратили внимание на Эксе и, особенно, на его даму, великолепно одетую, необычайно красивую. Эксе держал себя очень непринужденно, раскланиваясь со знакомыми, не стесняясь прижимался ближе, чем полагалось, к своей любовнице.

На другой день Мартсон вызвал к себе Эксе и, не предлагая ему сесть, резко сказал:

— Ваше поведение недостойно офицера; поэтому я вам предлагаю на выбор: или Вы в самый короткий срок женитесь на M-lle A. или я буду настаивать на Вашем отчислении из генерального штаба.

Недели через две я, Федоренко и Шеповальников уже пили, ели и веселились в Лидском замке у Эксе, где он в деревенской церкви обвенчался с Катей А. Свадебный обед был устроен на славу, с музыкой и пением. Еврейчики музыканты из Лиды надрывались из всех сил. Сартинский Бей *, известный по Петербургу, где он выступал на вечерах в аристократических салонах, был специально выписан и услаждал нас своими романсами, аккомпанируя на 9 струнной гитаре.

Их свадебная ночь кончилась довольно оригинально: под утро Владимир Федорович нахлестал по щекам свою молодую жену, так как она не захотела одеться и выйти из спальни, чтобы сняться в группе. И нас всех сфотографировали без нее. После сего счастливый муж, насвистывая, пошел на конюшню, а она лежала на кровати и заливалась слезами, как обиженный ребенок.

Обзаведясь женой, Эксе нисколько не изменил своего образа жизни, он продолжал проводить ночи за картами в клубах, посещал публичные дома, затаскивал в гостинницу с улицы понравившуюся ему девицу.

Будучи на кавалерийских сборах в Ковно, он постоянно просился у своего командира в Вильну, куда его привлекал Дворянский клуб, с игрой в макао на четыре табло. Пред-

---

* Не довольствуясь высоким гонораром, полученным от щедрого молодожена — Бей решил подработать еще на своей любовнице, красавице венгерке, которую он привез с собой на свадьбу, и предлагал нам с «нею позабавиться» за сто рублей с персоны. Мой приятель Шеповальников нашел цену, кажется, подходящей.

логи для поездки у него были разнообразные, но один особенно ошеломил его ближайшего начальника.

Явившись в полковую канцелярию, он прямо прошел в кабинет командира полка и брякнул ему, не моргнув глазом:

Господин полковник, я хотел бы на день съездить в Вильну, жену...

Полковник, хотя и казак, даже сконфузился, и только махнул рукой.

— Поезжайте.

Смотреть, как Эксе играл в азартную игру, было одно удовольствие. Когда он чувствовал, что ему идет карта, он пятисотенными билетами обставлял все три табло, а когда подходил банк, закладывал по две-три тысячи, или держал ответственный. Стол за которым он играл, всегда был окружен «мазчиками», или просто любопытными. «Мазчики» сыпали кто что мог: трешницы, пятерки, десятки и даже сотенные, в надежде «на раздачу».

Опытный игрок, Эксе играл хотя и азартно, но очень умно; и когда чувствовал, что следующая карта будет бита, а на зеленом сукне лежали горы разноцветных бумажек, — он делал паузу, улыбаясь смотрел кругом, затем бросив карты, подзывал клубного лакеял и небрежно сметал тому в салфетку все деньги — и крупные и мелочь, говоря: «сосчитай».

Будучи переведен в генеральный штаб и получив назначение в 3-й армейский корпус Ренненкампфа, он, как то, после одного крупного проигрыша, явился в штаб не выспавшись, с красными глазами, злой, небритый. Это был период подготовки к осенним маневрам, и на его обязанности был подбор соответствующих карт местности, для рассылки в войска.

Начальник штаба, Владимир Александрович Чагин, увидя опоздавшего на службу подчиненного, со свойственной ему мягкостью, чуть не извиняясь, обратился к Эксе:

— Владимир Федорович, а как у нас с картами?

— Плохо, Ваше Превосходительство, вчера проиграл 15 тысяч.

Бедный Чагин оторопел, засосал свою дешевую сигару и ушел в свой кабинет.

Об одном его крупном выигрыше, что то около 30-35 тысячь, стало известно всему городу. Эксе решил взять сразу заграничный отпуск, заказал специальные визитные кар-

точки, где стояло всего три слова: "Vladimir Exce, cosaque", прихватил свою жену и поехал через Вену на Ривьеру.

Поездка, однако, длилась очень недолго; в Монте-Карло его обчистили до нитки, и у него едва хватило на обратный билет.

Будучи переведен на высшую должность в Люблин в 1911 году, с производством в подполковники, я потерял надолго из виду моего приятеля Эксе. Он почему то ушел из Генерального Штаба, тяготясь, вероятно, штабной службой, или вдребезги проигравшись. Перед самой войной, он оказался в роли Ростовского полицеймейстера и начал там наводить порядки, отдавая самые дикие приказы по полиции.

Один из этих приказов начинался словами:

«Мои орлы городовые, пора нам объявить свою волю этим канальям» ..., — был высмеян левыми газетами, и против Эксе началась травля.*

В дни первой революции, весною 1917 года, Эксе видели на московских площадях, где он произносил зажигательные речи, драпируясь в убежденного социал-революционера.

Зимой, в начале 1918-го года, когда Ленин заседал в Смольном, а Троцкий управлял Министерством иностранных дел, при ближайшем участии Чичерина, мне довелось быть в Петербурге.

Узнав, случайно, что в окружении Троцкого состоит Владимир Федорович, пристегнувшийся к большевикам, я отправился в министерство, к Певческому мосту. Встреча наша была довольно сердечной. Эксе повел меня в свой великолепный кабинет, но извинился, что задерживать не будет, так как у него очень важный доклад ровно через полчаса у Чичерина.

— Видишь ли, голубчик, на мне лежит самая ответственная работа, сам Троцкий присутствует на моих докладах, с мнением моим очень считается, а Чичерин вообще ничего не понимает, и без меня ничего не решает.

Моей персоной Эксе почти не интересовался и продолжал хвастать еще минут десять в том же духе.

---

* Эксе не был оригинальным автором такого обращения. Это Куропаткин, отступив к Мукдену, обратился к войскам с приказом, который начинался: «Пора объявить японцам свою волю». К сожалению, не объявил.

Прощаясь, мы условились вместе позавтракать на следующий день у меня в час дня. Все было приготовлено: великолепная осетровая селянка из ресторана Виллы Родэ (у него я гостил), рябчики, французское вино...

Жду; Эксе не появляется. В 2 часа звоню ему в министерство и слышу: — Прошу извинить, быть не могу, очень занят, и ты должен понять: «прежде народ служил нам, а теперь мы служим народу»... и повесил трубку.

Все было сказано очень торжественно; вероятно рядом стояли посторонние.

Служба бывшего полицеймейстера Владимира Федоровича Эксе народу продолжалась недолго. Из своего министерского кабинета, он непосредственно проследовал на Шпалерную, в тюрьму, где говорят и был прикончен.

***

Не могу не упомянуть еще об одном моем друге, с которым мне пришлось вместе жить, на одной квартире, после развода с моей первой женой, — подполковнике не генерального штаба, Владимире Александровиче Шарепо-Лапицком.

Классик, он кончил Могилевскую гимназию, а затем Алексеевское юнкерское училище. Белорусс по происхождению, Шарепо считался весьма способным и добросовестным работником в штабе округа, где состоял в должности начальника этапного отделения.

Этот серьезный и остроумный, довольно ядовитый на язык человек, много читал, особенно новую литературу, — любил щеголять в обществе хлесткими, вычитанными фразами, вызубренными заранее наизусть, и огорошивал вопросами: «Вы, конечно, читали последний роман Сергеева Ценского», — обращался он в обществе к кому нибудь.

Книга только что появилась в продаже, собеседник даже не подозревал о существовании такого писателя, конфузился, а довольный Шарепо смеривал его презрительным взглядом:

— Советую прочесть, там отлично разработана половая проблема.

Генеральный Штаб он презирал, особенно за незнание латинского языка, хотя сам не говорил ни на одном иностранном, кроме польского. Он копил деньгу, никому не был должен ни копейки, никогда не ходил по ресторанам и питался

50-копеечным обедом из клуба, который ему приносил денщик в судках.

Возвращаясь в пятом часу из штаба и съев одним махом прямо из судков три блюда, он ложился с книгой на кровать и читал. По воскресеньям ходил в гости к Орловым, которые его очень любили, или на симфонический концерт, почитая себя знатоком и ценителем серьезной классической музыки, несмотря на полное отсутствие слуха.

В те дни, когда никакой свободной наличности я не ощущал в своем кармане и поневоле проводил вечера дома, мы целыми часами, до самой поздней ночи, сражались с Шарепой в шахматы по пяти копеек партия.

С ним никогда не было скучно; он много рассказывал про свои юные годы, похождения свои и его друзей в полку, и знал много польских анекдотов и поговорок:

— Вы знаете, — обращался он ко мне, — разницу между поляком варшавским и виленским? — Виленский говорит, играя в карты:

— Ест до битья двести рублей...,

а варшавский скажет:

— Есчь до бичья двешти рублей...

— Чувствуете разницу?

Перед моим переводом в Люблин, с производством в подполковники, совершенно неожиданно Шарепо решил жениться. Очень некрасивый, с толстым красным носом, скверно скроенный, он соблазнил очень миленькую, шуструю курсистку Верочку Ятовт, племянницу генеральши Орловой. Было совершенно не постижимо, как такая хорошенькая барышня польстилась на Шарепу.

— Как же это у вас вышло... — спрашиваю я его.

— Сам не понимаю, — искренно сознавался Шарепо-Лапицкий. Гуляли мы в Зверинце (лес на правом берегу реки Вилии), разговаривали, я нечаянно прижал ее к дереву, она не возражала, а там и пошло...

Несмотря на родившегося сына, брак их не оказался долговечным: вскоре на войне сестра милосердия Шарепо-Лапицкая уже окончательно бросила своего мужа. Во время гражданской войны она уехала одна с сыном к родителям в Одессу, а Шерепо, бежав под Киевом из красной армии, перешел к Деникину, затем служил у Врангеля в Крыму и, наконец, эвкуировался в Сербию. Он остро чувствовал свое одиночество и тосковал о сыне. В 1926 году я пригласил его к себе в Париж. Здесь он прожил около двух лет, переписывал-

ся с сыном, называвшем его в письмах — «дорогая тетя», дабы не возбуждать подозрения у большевиков.

Но вот в один печальный день Шарепу постиг тяжелый удар, скоро сведший его в могилу. Сынок написал своему отцу из Одессы: «я не желаю иметь ничего общего с такой сволочью, как вы; вы мне не отец и никогда им не были, поэтому прошу меня больше не беспокоить вашими дурацкими письмами. Комсомолец Юрий Я.»

Шарепо сложил свой чемодан, уехал обратно в Сербию и там вскоре и умер полунищим.

ЗАГРАНИЧНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ

Одной из важнейших функций окружного штаба являлся негласный сбор сведений о вооруженных силах соседей и особенностях будущего театра войны.

Во главе разведывательного отделения штаба стоял полковник или подполковник генерального штаба, имевший в своем распоряжении секретные суммы; на них содержал и заграничных осведомителей, а в своем округе — агентов по контр-шпионажу.

Ни для кого не составляло секрета, что немцы и австрийцы тоже проявляли интерес к могуществу Российской империи и широко раскинули шпионскую организацию на нашей территории.

Начальнику разведывательного отделения предоставлялось право ездить самому негласно за-границу, или командировать туда желающих, не боявшихся риска офицеров генерального штаба своего округа. Само собой разумеется, что главная работа по разведке находилась все же в руках начальника генерального штаба. Не в пример немцам, эти лица сменялись у нас, к сожалению, слишком часто, что очень невыгодно отражалось на службе генерального штаба и самой подготовке к войне

Довольно сказать, что за 8 лет, с 1906 по 1914 г у нас переменилось пять начальников генерального штаба, из коих один лишь, генерал Палицын, был на высоте положения.

А ведение войны, в течение целого года было возложено на совершенно бесцветного, но изящного и элегантного генерала Янушкевича, профессора администрации в Академии, и назначенного незадолго до войны на ответственный пост

начальника генерального штаба. Согласно положения о полевом управлении войск, в день объявления войны это лицо автоматически становилось начальником штаба Верховного Главнокомандующего.

Выбор Янушкевича на должность начальника Генерального Штаба был сделан, говорили, лично Государем и вызвал скорее удивление, чем удовлетворение, в среде корпуса офицеров Генерального Штаба. Царь близко знал Янушкевича, когда тот получил стоявший в Царском Селе 4-й Императорской фамилии стрелковый полк, и из представленных ему кандидатов выбрал именно его.

Добрый, очень доброжелательный к офицерам, Янушкевич, состоя профессором, часто гулял в Таврическом саду, примыкавшем к Академии. Иногда после лекций его видели в том же саду, сидящим в задумчивой позе на скамейке; откуда и пошло его прозвище — «спящая красавица».

В Ставке великого князя Николая Николаевича генерал Янушкевич пользовался неизменным благоволеним Верховного Главнокомандующего, но не составляло секрета, что все операции вел генерал-квартирмейстер Юрий Данилов, по прозвищу «Данилов Черный», в отличие от другого генерала «Данилова Рыжего», занимавшего также ответственный пост в течение всей войны.

Данилова судьба пощадила: он перебрался в Париж, где много писал и умер естественной смертью в начале немцкой оккупации. А бедный Янушкевич был убит в своем купэ, в поезде, разнузданными пьяными солдатами, когда возвращался в Петербург после октябрьской революции.

**
*

Осенью 1906 года старший адъютант разведывательного отделения штаба округа, полковник Вицнуда, обратился ко мне с предложением поехать в Восточную Пруссию, для рекогносцировки стратегической железной дороги Вержболово — Тильзит — Кенигсберг и крепость Пиллау, на берегу залива Куксгафен.

Получив 200 рублей, соответствующие инструкции и заграничный паспорт, где было кратко сказано, что я капитан такой-то, я выехал в штатском костюме в Вержболово, откуда взял пассажирский поезд на Гумбинен, Инстербург и дальше.

Моя неопытность и неосторожность весьма скоро дали себя знать.

Поезд плелся как черепаха останавливаясь на каждой станции, и я выходил, чтобы видеть ее равитие и оборудование. Возвращаясь в вагон, вытаскивал карту, путеводитель, открытки, на которых писал свои донесения, и на следующей остановке бросал их в почтовый ящик.

Я замечал любопытные взгляды пасажиров, но не обращал на это особого внимания. Но когда поезд подошел к Тильзиту, кондуктор вежливо ко мне обратился и просил посидеть, пока не выйдут все пассажиры. А на платформе уже ждал немецкий жандарм, приглашая следовать за ним к начальнику станции.

Осмотрели паспорт, карту, вывернули карманы, ничего не нашли. Изобразив деланное возмущение, я резко заявил, что эта свинья — жандарм не имел никакого права задерживать меня, русского офицера. Про мой Генеральный Штаб я, естественно, умолчал. Тут все немцы пришли в необычайную ярость:

— Как Вы смеете оскорблять прусского жандарма при исполнении служебных обязанностей. Три марки штрафу, три марки, немедленно платите три марки...

— Ну, думаю, дешево отделался.

Дал им три марки, получил расписку и, сопровождаемый злобными взглядами, пошел в город завтракать, продполагая спокойно обдумать что делать дальше. Больше всего я опасался, что на станциях в почтовых ящиках, найдут мои условленным шрифтом написанные открытки, и тогда не сдобровать. Жег еще карман немецкий «курсбух», где на полях были сделаны все заметки в пути, перенесенные на письма-открытки.

Самое осторожное, казалось, следовало бы прервать на время свое рискованное занятие, уехать например в Берлин и, вернувшись через несколько дней, продолжать.

Позавтракав и подходя к вокзалу, к моему несчастью, наткнулся снова на того же жандарма. Он удивленно на меня взглянул, минутку поколебался, а затем подошел и промолвил:

— Ну, у меня на Ваш счет свое мнение; пожалуйте в Kriminal-Polizei.

Сели в трамвай, поехали; со всех сторон глазели любопытные. А я только и думал — куда бы мне девать этот несчаст-

ный путеводитель: бросить — заметят; оставить в кармане — наверное найдут в нем отметки. Все же оставил.

Приехали в полицию. Два сыщика, с доклада жандарма, стали обшаривать, предложили снять пиджак и штаны, пристали с вопросами, почему я выходил на каждой станции. Обратили внимание на карту и на две-три в ней заметки.

— Выходил, — говорю, — чтобы подышать воздухом, в вагоне все курили ваши вонючие сигары, а что касается до отметок в карте — ничего сказать не могу, — я ее такой взял еще дома.

До путеводителя, — а я его небрежно швырнул на стол, с кошельком и бумажником, — не дотронулись даже. Записали фамилию, все сведения из паспорта, и отпустили. Уехав в Берлин, я через неделю вернулся в Кенигсберг и благополучно, на сей раз, закончил свою рискованную командировку. Вицнуда был вполне удовлетворен моей работой, получив все посланные с пути открытки и, в дополнение, подробный письменный отчет.

В начале сентября того же 1906 года от Начальника Генерального Штаба из Петербурга было получено предписание: командировать негласно одного или нескольких офицеров Генерального Штаба на имеющие состояться в Силезии Императорские маневры.

Кроме меня желающих не оказалось, и тот же Вицнуда, вручив мне снова двести целковых и паспорт, кратко сообщил:

— Поезжайте в Бреславль, а там уже разберетесь. И я действительно разобрался, без всякого труда.

Уже в пути из газет можно было точно знать, что на маневрах будут участвовать два корпуса, один генерала Войрша — штаб в Бреславле, второй Макензена из Бранденбурга. Маневрам, под руководством самого Кайзера должен был предшествовать грандиозный парад 6-го корпуса, на поле возле Бреславля.

Не думаю, что теперь после второй войны, этот чудесный громадный город представляет собой то, чем он был пол века тому назад. Готовясь увидеть в своих стенах Императора, он весь украсился флагами, арками, цветами и бюстами Вильгельма. Город кишел военными всех родов оружия, на парад съехались десятки тысяч немцев и немок из всей Силезии; в гостинницах и ресторанах трудно было найти место; в каба-

чках, пивных и разного рода танцульках шло разнузданное веселье.

Колоссальные трибуны были выстроены на месте парада; и в день этого торжества десятки тысяч мужчин, женщин и мальчишек с раннего утра тащились за 10 километров, в сопровождении «шакалов» — торговцев шнапсом, сосисками и прочей снедью.

Не плохие парады были и у нас в царской России, на Марсовом поле, но что порожало здесь — это обилие красок, разнообразие форм в гвардии и кавалерии, отсутствие защитного цвета и непосредственное участие в параде самого Вильгельма, где он гарцевал перед строем войск, а затем лично вел перед Императрицей ее конный полк.

С жезлом в руке, несмотря на свою полу-высохшую руку, — в ней он держал поводья, — Кайзер объезжал перед парадом войска:

— Guten Morgen, Husaren!

— Hoch Majestät, —
неслось в ответ.

А когда он курц-галопом шел впереди полка имени своей супруги, и ей салютовал императорским жезлом, на трибунах стоял стон, и немцы и немки бесновались.

На другой день после парада начались маневры, продолжавшиеся около недели, в районе Лигница.

Интерес к этим маневрам у населения был столь же велик, как и к самому параду.

Специальные поезда — «зондерцуги» уже спозаранку везли толпы немцев и немок на Manöver Gelände. Публика шла пешком, или ехала на велосипедах с войсками и за войсками, чуть ли не вливаясь в самые цепи, тащилась на позиции артиллерии, интересуясь ходом боя.

Приняв наиболее немецкий вид, благодаря костюму «конфексион» из универсального магазина в Бреславле, с сигарой в зубах, я не возбуждал ничьего любопытства, без труда передвигался всюду, где было для меня наиболее интересно и поучительно. Смешно вспомнить с какой легкостью я буквально бежал, однажды со своим велосипедом на спине по картофельному полю, на какую то горку, где увидел Вильгельма и возле него начальника большого генерального штаба Мольтке.

В почтительном расстоянии стояла блестящая свита, тут же престарелый, похожий на бабу, фельдмаршал фон Хезелер, и все военные агенты.

Масса любопытных подбиралась со всех сторон поближе к Кайзеру, сдерживаемая полевыми жандармами. Некоторые умудрились влезть чуть ли не под самые ноги лошади Вильгельма и тот, злобно отмахиваясь, кричал:

— Rauss, rauss.

Все, что я в течение первой недели видел и непосредственно наблюдал, было для меня черезвычайно ново и поучительно и, вернувшись без всяких инцидентов в Вильну, я представил обстоятельный рапорт.

***

В течение последующих лет моей службы в Виленском округе, мне пришлось быть еще в четырех ответственных секретных командировках в Германии:

в 1907 году — рекогносцировка стратегических шоссе в районе Мазурских озер;

в 1908 году — Императорские маневры в Эльзассе, в районе Саарбрюкена;

в 1909 г. — большие кавалерийские сборы из шести дивизий у Альтенграбова;

в 1910 г. — Императорские маневры в Восточной Пруссии.

Две поездки прошли благополучно, а на других двух я, что называется, влип и до конца их не довел: честью попросили убраться, и больше вообще на территории германского «рейха» на появляться.

Это были Альтенграбовские кавалерийские сборы и маневры в Восточной Пруссии в 1910 году. В последний день этих маневров, когда в Эльбинге я подходил к кассе вокзала, чтобы взять билет и ехать на место, где предполагался разбор маневра, в присутствии Кайзера, я почувствовал инстинктивно что то неладное. Обернулся и вижу, что двое субъектов стоят сзади, шагах в десяти, и один меня фотографирует. Подошли и попросили за ними следовать. Отвели в какое то учреждение, где важный немец, усевшись за кафедру, начал учинять допрос.

— В номере вашей гостинницы мы нашли ваш паспорт, где говорится, что вы учитель. Aber Sie sind kein Lehrer, Herr von Dreyer, — нам точно известно, что вы капитан генерального штаба и уже дважды были замечены на нашей территории; — первый раз в Тильзите, второй раз в Альтенграбове. Я хотел бы знать, почему у вас фальшивый паспорт и что, собственно побуждает Вас так часто ездить к нам.

Заменивший Вицнуду, на должности начальника разведывательного отделения, полковник Ефимов действительно сделал колоссальную ошибку, выдав мне паспорт на имя учителя. К счастью, я нашелся:

— Не приходится скрывать, что я капитан генерального штаба, но должен Вам заметить, что я состою преподавателем тактики в Виленском училище (что соответствовало действительности) — читаю там лекции в двух классах, и меня, как специалиста в этой области, интересуют достижения иностранных армий, после нашей неудачной войны с Японией. И теперь к сожалению вижу, что опыт этой войны в немецкой армии не учтен в достаточной мере.

Немец сперва удивился, а затем черезвычайно заинтересовался; а я, набравшись смелости, привел ему ряд разительных примеров.

— Я и не думал, что мы так отстали, — был его ответ; — но все же, отпуская Вас теперь, я должен Вам посоветывать, прекратить эти поездки.

Вернувшись в отель, я обнаружил, что у меня все решительно было перевернуто, но ничего не тронуто.

***

Императорские маневры 1908 года на границе Франции, в районе Форбах-Саарбрюкен, прошли для меня без всяких осложнений и, по их окончании, я отправился, по собственному почину, во Францию где вскоре должны были состояться так называемые "Manoeuvres du centre" под руководством генерала Ланглуа между Туром и Буржем, в районе реки Луары.

Здесь действовал вполне легально. В военном министерстве, в Париже, получил разрешние, и выехал с велосипедом через Орлеан в городок Селль, на реке Шер — притоке Луары.

Мне впервые пришлось на этих маневрах непосредственно столкнуться с французскими строевыми частями.

До сих пор, приезжая в Париж туристом, я встречал только отдельных солдат в театрах, на улицах, в кафе, скверно одетых в некрасивую, отвратительно пригнанную форму, в развалку прогуливающихся по бульварам. Офицеров видеть не приходилось, им рекомендовалось носить штатское платье, ибо армия долгие годы была не в почете, после проигранной войны 1870-1871 года.

В массе французские войска имели еще более плачевный вид. Это особенно резко бросалось в глаза, в сравнении с дисциплинированными немецкими частями, где все ходило, маршировало, перестраивалось и вело бой без разговоров, по команде, в образцовом строю.

Наблюдая идущую в походном порядке пехотную колонну, я не верил своим глазам, что это войсковая часть, а не галдящая толпа, где все шагают как хотят, смеются, разговаривают, поют, ружья несут как лопаты, не обращая внимания на своих офицеров.

Еще сильнее било в глаза зрелище французской армии во время «дневок».

В маленьком городке Selle s/Cher все рестораны, террасы кафе были переполнены солдатами, в небрежных позах, кто в фуражках, кто в растегнутых мундирах, пили, ели, пели, орали. Среди этой солдатни сидели и офицеры всех чинов и рангов. Держали они себя скромно, никто на них не обращал внимания; входившие и выходившие чести им не отдавали. Можно было наблюдать бородатых солдат-резервистов, призванных на 28 дневный срок. Эта категория вела себя особенно развязно; многие тянули шампанское, чего их начальники, со своим скромным офицерским жалованьем, себе позволить не могли.

Городишко Selle s/Cher лежал в центре маневренного района; я его и выбрал для своей штаб-квартиры, чтобы с утра выезжать на велосипеде для наблюдения за операциями то красной, то синей стороны. Благодушный хозяин гостинницы, которую я выбрал наугад, оказался руссофилом и сразу меня посвятил в историю города.

— Monsieur, vous devez surement connaître, comme militaire ... — продолжаю по русски —, что Жанна д'Арк, идя на Орлеан, остановилась на несколько дней в нашем городе; и что более замечательно, жила в этом самом отеле и спала в комнате, которую я отвел для Вас.

Вполне возможно, что Орлеанская Дева проходила через знаменитый Selle s/Cher, но столь же несомненно, что хозяева и других гостинниц города держали в запасе комнату, где тоже ночевала Жанна д'Арк, и куда клали спать выгодных постояльцев.

Я рассыпался в благодарностях любезному французу, уверяя его, что совершенно не достоин подобной чести, и никогда этого не забуду.

На утро второго дня разбудив меня, мой хозяин таинственно сообщил:

— Вы знаете, кто остановился у меня? Сам генерал Бонналь. И если Вы хотите, я Вас ему представлю, я ему уже говорил о Вас.

Генерал Бонналь, начальник академии генерального штаба, только что вышедший в отставку, по предельному возрасту, с необычной простотой и любезностью встретил меня внизу, где я пил утренний кофе, и, без лишних слов, сразу предложил с ним вместе совершать поездки в его автомобиле. Это была необычайная удача и честь для меня, молодого офицера.

Бодрый, живой, черезвычайно интересный собеседник, острый на язык, Бонналь явился на французские маневры в совершенно новой роли. Правая газета «Голуа» (ныне «Фигаро») пригласила его быть ее кореспондентом, и он без колебания принял предложение.

В течение целой недели мы носились с ним по полям боев, наблюдая за маневрами французских войск.

Я без стеснения высказывал ему свои мысли, критиковал распущенность солдат, и с большим вниманием выслушивал его меткую отповедь.

— Вы не понимаете, — говорил он, — особенности нашего солдата. Немцы это бездушная машина, которая отлично управлятся своими офицерами. Выбыли офицеры из строя, и все эти манекены обратятся в толпу. У нас каждый рядовой знает что делать в любой обстановке, и кажущаяся распущенность не так страшна в бою, где каждый воин будет на своем месте.

Последующая война на самом деле это доказала — французы ее выиграли. Правда, Россия приложила к этому свою руку, потеряв четыре с половиной миллиона убитыми. Возможно, что то же произошло бы во вторую мировую войну, если бы С.С.С.Р. выступил одновременно с союзниками, а не нянчился целый год с Гитлером и Риббентропом.

На этих же маневрах присутствовал наш Начальник Генерального Штаба Палицын, в сопровождении полковника Кортаццы.

В день окончания маневров мы подъехали к деревушке, где на полянке должен был происходить разбор, в присутствии военного министра Пикара, начальника французского

Генерального Штаба Брэна и самого «директора маневров» генерала Ланглуа. Там же находился и Палицын.

— Представьте меня вашему начальнику генерального штаба, — обратился ко мне Бонналь.

Палицын меня немного помнил по полевой поездке в окресностях Вильны, куда он специально приезжал годом раньше инспектировать и знакомиться с офицерами Генерального Штаба Виленского округа.

Увидя меня, Палицын был весьма удивлен.

— Какими судьбами вы здесь? — был его первый вопрос.

— После немецких Императорских маневров в Эльзасе, я поинтересовался посмотреть маневры французские, Ваше Высокопревосходительство.

— Как, не будучи командированным, по собственной инициативе? — вот молодец. А с кем вы это там?

Отвечаю:

— С генералом Бонналем.

И Палицын, оставив все французское начальство, сам пошел на встречу своему коллеге. Они долго беседовали, жали друг другу руки, а затем Палицын, попрощавшись, повел меня представлять французским генералам.

Бонналь, относившийся с полным презрением к Брэну и к Пикару, называл его «дрейфуссаром», но пошел и ждал моего возвращения. По окончании маневров я с ним вернулся в Париж. При чем по дороге, на берегу Луары, в маленьком ресторанчике мы вместе завтракали, пили великолепное «Анжу», — он ни за что не позволил мне платить, — и распростились друзьями на «Плас де л'Опера».

Позже в эмиграции в Париже, я узнал, что его семья очень бедствовала и дочери его искали любую работу в maisons de couture.

Эта случайная встреча с моим Начальником Генералного Штаба черезвычайно выгодно отразилась на моей карьере.

***

Осенью 1909 года, совершенно неожиданно для начальства штаба Виленского округа, была получена из Петербурга телеграмма:

— По приказанию Начальника Генерального Штаба командировать капитана фон Дрейера, негласно, на немецкие кавалерийские сборы под Альтенграбовым, с выдачей ему 350 руб.

Мои шансы поднялись, начальство пожимало плечами, товарищи завидовали. К сожалению, как я говорил выше, на этой поездке я споткнулся, задачу до конца не выполнил. Штальмейстер Кайзера, с которым я случайно ехал в одном купэ из Берлина, увидел меня на велосипде на шоссе, возле Императорских конюшен, почувствовал неладное и донес на меня, как подозрительного иностранца. Это было на третий день маневров. В 4 часа утра ко мне в гостинницу явился жандарм и без церемонии попросил сложить манатки и убираться, вывернув все в чемодане и проверив паспорт.

Считая свою поездку невыполненной до конца, вместе с рапортом о всем виденном, я вернул 175 рублей, как не заслуженно полученные.

Мои частые служебные поездки за-границу принесли мне в последующие годы громадную пользу. .

Кроме официальных отчетов, я часто писал в специальных военных журналах: Военном Сборнике и Русском Инвалиде. Будучи неоднократно командируем в части пограничной стражи в Вержболово и Таурогген, для практических занятий тактикой с офицерами, я смог побывать в немецких военных собраниях, так называемых «казино», но уже в военной форме: один раз в Сталупенене у улан, второй раз в памятном Тильзите у черных гусар.

В обоих случаях меня приглашали к обеду и, хотя за столом все сидели строго по чинам, мне отводилось почетное место рядом с командиром полка. Одна из моих статей в Русском Инвалиде об этих визитах, написанная в несколько сатирическом тоне, попала в переводе в немецкую прессу и вызвала бурю негодования.

Свои впечатления о фрацузских маневрах 1908 года я передал моему другу капитану Кросу, владевшему русским языком; он сделал перевод и поместил в Revue des Armées Etrangères. По двести франков золотом пришлось на каждого из нас.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ

Моя любовь к загранице в молодые годы была нечто вроде болезни. Я буквально не мог усидеть на месте, и только и мечтал сорваться и куда нибудь поехать. Об этом знали мои приятели и просили настойчиво прихватить их с собою, в случае если бы я вздумал взять заграничный отпуск.

Первый, которому я оказал такую честь, был капитан генерального штаба Георгий Иванович Гончаренко, старший адъютант штаба 3-ей кавалерийской дивизии в Ковно.

Добрейший Владимир Александрович Чагин, мой начальник, поворчав немного, отпустил на две недели перед Пасхой 1909-го года. Я написал Гончаренке, мы быстро собрались и, что называется, навострили лыжи. Приятеля интересовал исключительно Париж.

— Париж, так Париж, — едем в Париж.

В Берлине задержались на двое суток: по вечерам на что-то глазели, днем побывали в знаменитом Паноптикуме в Пассаже. На утро третьего дня, взяв билеты третьего класса, запасшись шахматами и резиновыми надувными подушками, чтобы вынести легче 14-часовое путешествие на твердом сидении, пустились в путь. На коротких остановках ели сосиски, пили пиво, а в вагоне все 14 часов играли в шахматы, чтобы убить время. Было условлено, что выигравший наибольшее количество партий, шахматы забирает себе. Повезло мне. В 10 часов вечера были уже в Бельгии.

В Брюсселе, где у меня находились друзья и знакомые, я охотно остался бы на несколько дней, но должен был уступить своему приятелю, загипнотизированному словом Париж.

И вот мы в Париже — в чудесном городе конца belle époque. Подъезжая к нему мы уже напевали:

«В Париже, в Париже, в Париже хорошо.

И нам с тобой Ванюха побыть там не грешно».

Так пели и плясали «лапотники» в Вилла Родэ, в Петербурге.

Остановились на «Бульвар де Страсбур», вблизи больших Бульваров, в дешевой гостиннице, вдвоем в одном номере, для экономии.

В те молодые годы личный комфорт не играл существен-

ной роли, а 400-500 франков, что у нас болтались в кармане, предназначались для более интересных целей.

Заняв номер, мы наскоро помылись; Гончаренко пригладил щеткой побитую молью «бабочку» — пробор по середине лысеющей головы, — и мы помчались на Бульвары. Это было накануне Пасхи; она в тот год была ранняя, но на улицах уже цвели каштаны; погода стояла теплая, грело солнце.

В то славное далекое прошлое, когда автомобили только появились и не отравляли бензином ни людей, ни деревьев, Большие Бульвары, густо засаженные громадными каштанами были поразительно красивы.

— Какая прелесть, восхищался мой приятель; и ты знаешь, я больше всего люблю толпу, улицу и театры.

Вкусы наши оказались не совсем схожи; толпу, особенно праздничную, я никогда не любил; и мы вскоре стали развлекаться самостоятельно. Вместе только завтракали в дешевых бистро, по тогдашнему — bouillons.

Один раз мне удалось его затащить в дорогой, и тогда довольно модный реторан возле Биржи, — «Шампо». Когда я заказал для нас лягушек à la poulette, Гончаренко пришел в ужас, но чтоб не прослыть дикарем, все же их ел.

Повел я его однажды в театр «Скала», на какое то «ревю», где выступал гремевший в Париже Полюс. Это ему так понравилось, что он в течение недели ежедневно ходил смотреть это «ревю» и выучил наизусть все песенки одетого солдатом Полюса. А потом в Ковно с гордостью их напевал *.

---

* Последний куплет:

Парад окончен. Мы героям
В восторге все кричим «ура»,
И от восторга просто воем,
Но и домой уже пора.
Всех патриотов ждет награда:
Когда мы двинулись с парада,
Я с маркитанткой важно шел,
Жену — гусар под руку вел,
В утеху дочке дан
Судьбою был улан,
Волок сестренку кавалер —
Усатый рослый гренадер,
Гляжу я: в свой черед
И теща тоже прет,

К женскому полу мой бедный Гончаренко относился с необыкновенной боязнью, и не допускал никакого сближения.

— Слушай, говорю я ему, давай пригласим за наш стол вон ту мидинетку, будет веселее.

— Пригласим, — соглашался он, — но только не больше, а то знаешь... вспомни «виноград».

Он все еще жил под впечатлением берлинского Паноптикума, где в анатомическом отделе были выставлены сделанные из воска мужские и женские торсы и на них, с жутким реализмом, показаны все периоды страшной венерической болезни.

После нашей памятной поездки мне не часто пришлось встречаться с Гончаренкой. В последний раз я его видел в Берлине в 1922 году. Он бежал от большевиков на Дальний Восток, откуда через Америку пробрался в Европу, неосторожно обосновавшись в Риге, где стал писать и этим зарабатывать на жизнь. Под псевдонимом «Галич», он написал и издал около 1/2 дюжины недурных романов, довольно бесцветных стихов, вел спортивный отдел на рижских скачках и даже в цирке.

Он отыскал мой парижский адрес и в течение десяти лет мы с ним регулярно переписывались. Жизнь его оборвалась трагически, когда в 1939 году в Москве было заключено соглашение Риббентропа со Сталиным, и большевики заняли Прибалтику.

В Риге комунисты с Маленковым во главе, начали свою обычную чистку и, в первую голову, ударили по русской эмиграции. К Гончаренке на квартиру явились чекисты с приказом явиться на следующий день в комиссариат, вновь созданный, для регистрации.

Смирив свой буйный нрав,
Зуава толстого обняв...

ПРИПЕВ:

Gais et contents
Nous allions triomphants
En revenant de Longchamps
Le coeur à l'aise,
Sans hésiter,
Nous venions d'acclamer
De voir et complimenter
L'armée française!

В назначенный день в списках коммиссариата фамилии Гончаренки не оказалось. Тогда к нему на квартиру снова отправились чекисты, для его ареста. Но было поздно: генерального штаба генерал-майор Георгий Иванович Гончаренко приказал долго жить: он ночью повесился на металическом проводе от своего радио.

***

Зимой 1910-1911 года я совершенно нoжиданно снова умудрился попасть за-границу, и опять в качестве бесплатного гида, со своими двумя приятелями — Кондратьевым, уже в чине поднолковника, и Шеповальниковым.

Получив 20-го декабря скромное жалование, что-то около ста рублей, за всякими вычетами, — портному, сапожнику, казначею Волынцевичу, — я, по обыкновению, направился в Дворянский клуб попытать счастья.

Шеповальников уже сидел там, за зеленым столом, красный, вспотевший и, что называется, «раздавал».

— Не прет, чорт возьми сегодня, криво улыбаясь заметил он. Хотите занять мое место и играть пополам.

— Пополам нет, а вот в треть с Вами пойду.

Его сто, я выложил пятьдесят и сел. Будь я настоящим азартным игроком, для которого «пан или пропал», я в тот вечер мог бы сделать состояние — так шла карта.

И вот, когда на моем третьем банке полтораста рублей превратились в три тысячи, я снялся и освободил место. Шеповальников был в восторге, я не чувствовал под собой ног. Прямая дорога повела нас, конечно, к Шуману. Здесь за бутылкой Клико, вернее многих, под пение и пляски Михайловского хора, мы решили на выигранные деньги катнуть заграницу.

Так как события происходили перед Рождеством, начальство без труда отпустило, и к нам пристроился еще третий компаньон — «Кондратос». Это была уже музыка не та, что с моим Гончаренкой. Во первых, в бумажнике приятно шелестели около десятка новеньких сотенных билетов, — более чем полугодовое капитанское жалование; вкусы у нас были более или менее схожими. Намеченная программа: Берлин, Брюссель, Париж, и, как заключительный аккорд, — Монте-Карло, — принята была без колебаний.

В Берлине Кондратьев решил почему-то экипироваться. Его угнетало поношенное пальто с чужого плеча, одолжен-

ное приятелем путейцем, и он непременно хотел купить новое, а кстати и белье. На кой чорт понадобилось ему это белье, — в России оно было лучше, чем где бы то ни было, — совершенно непонятно. Не говоря ни на одном иностранном языке, он так пристал, чтоб я с ним пошел покупать, — отвязаться не было никакой возможности.

— Послушай, не могу же я появиться в Париже в таком виде: этот, каналья, Завадовский, Бог знает во что меня обрядил. Да и белье я хочу непременно купить.

Чтобы скорее кончить, и не зная сам, где все это лучше приобрести, повел его в универсальный магазин Вертхейма на Лейпцигер Штрассе.

Пошли все втроем. И вот он начал выбирать: это — короткое, другое — очень дорогое и узкое в плечах, третье — сидит мешком. Приказчика вогнал в пот; мы безнадежно посматривали на часы. Чтобы избавить всех от этой пытки, я в экстазе остановился на каком-то раглане, «наваринского пламени с дымом», и горячо его ему рекомендовал. Кондратьев клюнул. И никогда не мог мне простить этой покупки.

— Вы оба свиньи, говорил он, особенно ты. Обрядили меня, как клоуна, в это паршивое гороховое пальто. Собаки лают, когда меня видят в нем. Это называется друзья!

В Париже мы времени не теряли, и особенно приятно вспомнить, как веселились в знаменитом тогда "Abbaye Telem" на Place Pigalle. Громадный зал был залит светом, прекрасная артистическая программа, элегантная интернациональная публика, веселые танцы, под хороший оркестр, без дергающего нервы джаза.

Консоматорши казались нам верхом красоты, и мы не без удовольствия запускали им за декольте 20-франковые золотые.

Как то пошли завтракать в "Café Américain", превращенное ныне в посредственный ресторан "Les Capucines", рядом с Парамунтом, на Больших Бульварах. Здесь с моим «мефистофилем» опять произошло комическое qui pro quo.

— Заказывай, что хочешь, — говорит Кондратьев, — но только я пить шампанское не буду, и каждый платит за себя.

Когда sommelier подошел к нему, чтобы налить в большой пузатый стакан fine champagne Кондратьев взял у него из рук бутылку; — Non, non, Monsieur, moi-même, moi même, и громадный стакан налил почти до верху.

Он усмотрел в карте вин цену — 3 франка и решил, что лакей его обжулит и нальет мало. Счет: с нас за две бутылки шампанского — 18 франков, с наивного иностранца, — 24 франка. Кондратьев просто взвыл. Он с удовольствием пил бы шампанское, если бы заранее знал, что verre à déguster не наполняют до верху, как кружку с пивом.

И мы долго потом над ним издевались.

Новый год, по русскому стилю, встречали в Ницце, в очень модной boîte de nuit "Ernest", на площади Массена, где позже находился закрытый теперь"Perroquet".Мы вошли, не подозревая, какой сюрприз нас ожидает. Все было почти полно, но хозяин заведения, повидимому, почувствовал, что не ошибется в расчетах, если даст этой троице хорошее место.

Около 12 часов ночи вдруг потух свет, и в то же время ресторан был залит красным пламенем от зажженного снаружи под окном бенгальского огня. А когда часы начали бить двенадцать, румынский оркестр грянул русский национальный гимн — «Боже Царя храни».

Зажгли электричество. Со всех сторон раздалось «ура». Оказалось, что более половины публики были русские — "boyards russes" — за которыми следовало ухаживать. Началось чоканье с соседями, поздравление друг друга с Новым Годом, с новым счастьем.

Кондратьеву, после второй бутылки шампанского, этого показалось мало и он пустился знакомиться со всеми, со стаканом в руках, и пристроился к какой то компании. Вытащить его не представляло никакой возможности, и в четвертом часу утра мы уехали к себе в гостинницу одни. А днем, проспавшись, Кондратос кинулся с вопросом:

— Вы взяли мой портабак?

— Какой твой портабак? Никакого портабака ты нам не оставлял.

— Вы меня бросили одного, не по-товарищески, и мой серебряный портабак исчез. Я его оставил на столе, мой портабак с монограммами, вы должны были его видеть.

Это было уже хуже его горохового пальто; он серьезно считал нас виновниками происшедшей драмы, и никогда не мог этого забыть.

В Монте-Карло, конечно, мы проигрались до тла. Умнее оказался Кондратьев. Матерьяльная стоимость его портсигара — ничто, в сравнении с теми сотнями рублей, что я и особенно Шеповальников внесли в кассу симпатичного казино.

Облегченные, но полные впечатлений, мы в том же составе вернулись к родным берегам.

В первую мировую войну Кондратьев, уже генерал, нес службу по своей специальности — военные сообщения. В гражданскую войну был у Деникина и Врангеля; эвакуировался в Сербию, а оттуда — в любезную его сердцу Литву. В Ковне ему дали место, но он скоро умер от чахотки, без семьи, без друзей, на госпитальной кровати.

А когда то богатый Шеповальников, без гроша в кармане, — у него все национализировали — в 1918 году оказался в Москве при большевиках. Его судьба мне совершенно неизвестна.

ПРОИЗВОДСТВО В ШТАБ-ОФИЦЕРСКИЙ ЧИН. ЛЮБЛИН. ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ

На Пасху 1911-го года я был произведен в чин подполковника, с назначением штаб-офицером для поручений в Люблин, в штаб 14-го корпуса. Грустно было покидать Вильну, где я прожил почти шесть лет, оставлять благоволившее мне начальство, приятелей офицеров, милых знакомых.

Ренненкампф сделал мне у себя дома торжественные проводы, с таким количеством возлияний, что я в течение суток не мог притти в себя.

Провожали, как водилось, и товарищи офицеры, — сперва в Военном Собрании, а затем, по традиции, у Шумана и даже дальше.

Люблин, куда я приехал в конце апреля, привел меня в совершенное уныние.

— Как, в этом маленьком городишке мне придется жить несколько лет? И все же, после Варшавы, это был лучший, типично польский город, с одной красивой улицей — Краковское предместье, — выложенной от начала до конца красным кирпичем.

— Какая жалость после Вильны, — было первое впечатление.

Но постепенно привыкаешь ко всему, и в малом находишь достоинства. В Люблине оказался чудесный Саксонский сад, настоящий парк с вековыми деревьями, тенистыми аллеями,

недурной театр, великолепная кондитерская и даже два кафе-шантана, правда, довольно низкой пробы.

По установившемуся ритуалу полагалось прежде всего явиться начальству, а затем делать официальные визиты.

Начальника штаба корпуса на лицо но оказалось. Старый — получил новое назначение, новый — генерал Леонтьев — еще не приехал. Его замещал командир Тульского пехотного полка Сухомлин, офицер Генерального Штаба, наезжавший два раза в неделю из Ивангорода, для доклада командиру корпуса.

Вот к этому командиру корпуса, генералу Брусилову, вошедшему в Историю, и был мой первый визит. Сухомлин мне сообщил день и час, в который Его Превосходительство желает меня принять.

В полной парадной форме, с кивером на голове, явился я на его казенную квартиру.

Пятнадцать минут ожидания в приемой, и денщик отворяет дверь в кабинет. Из-за письменного стола подымается невысокий, сухой человек, с тонкими рыжими усами и, не подавая руки, выслушивает трафаретную формулу:

— Подполковник (имя рек), представляется, по случаю назначения в штаб вверенного Вашему Превосходительству корпуса.

Генерал просит садиться, кратко осведомляется о прежней службе, сохраняя каменное выражение лица; затем встает, величественно протягивает руку и произносит:

— На следующей неделе вы будете меня сопровождать в Замостье; до свидания.

— Ну и сухарь, — уходя была первая мысль; — это тебе не Ренненкампф.

Смотр, который устроил Брусилов Донскому казачьему полку в Замостье, был, как я скоро понял, смотром и для меня.

Казаки производили конное ученье в поле на крупных аллюрах. Мы были верхом. Брусилов давал мне специальные поручения, — которые требовали передвижения карьером. Ему хотелось видеть, умеет ли этот «момент» сидеть на лошади.

Начав службу в Тверском драгунском полку, затем перейдя в офицерскую кавалерийскую школу, где он дослужился до начальника школы, и не будучи в Академии, Брусилов сделал карьеру, благодаря Великому Князю Главнокомандующему. Этот жилистый человек, жокейской складки, черствый с подчиненными, был необыкновено ласков с начальством и

особено в милости у самого инспектора кавалерии, великого Князя Николая Николаевича. Благодаря Великому Князю он прямо из школы получил в командование 2-ую гвардейскую кавалерийскую дивизию, не служа никогда в гвардии.

Его там не любили и даже презирали, так как он был единственным офицером русской армии, который, однажды, в припадке верноподданнических чувств, поцеловал руку не то у Государя, не то у самого Инспектора кавалерии.

Со своей стороны, Брусилов терпеть не мог Генеральный Штаб, и особенно офицеров этой касты не кавалеристов.

Артиллерист по своей первоначальной службе, я начал ездить верхом еще мальчишкой кадетом; на экзамене в Академии перещеголял кавалерийских офицеров: в корпусе Ренненкампфа за пять лет сделал тысячи верст. Брусилов, пока мы не познакомились ближе, всего этого не знал. Но два «реприманда» в тот день я все же от него получил.

После полевого ученья, одной сотне была назначена джигитовка и рубка. И вот один казак сорвался с седла, нога его зацепилась в стремени и лошадь его понесла. Видя, как казак бьется головою о землю, я невольно вскрикнул:

— Ах, чорт возьми!

Рядом стоявший Брусилов повернулся ко мне и, щелкая вставными челюстями, резко произнес:

— Ну, вы могли бы удержать ваши нервы.

Кончился смотр. Начальник Донской дивизии генерал Вершинин, бывший атаманец, пригласил своего корпусного командира и меня у него позавтракать. Отправились к нему на квартиру. В ожидании, когда позовут в столовую, мы уселись в кабинете хозяина и закурили. Вдруг Брусилов поднялся с места, подошел к письменному столу и начал рассматривать карту, — он предполагал сделать еще какой-то маневр казакам.

Смотрит Брусилов карту и что то на ней прикидывает. Я сижу и курю. Вдруг он поворачивается ко мне и злобно произносит:

— Подполковник фон-Дрейер, я бы вам порекомендовал встать, когда ваш командир корпуса стоит.

Я совершенно растерялся.

— Слушаюсь, Ваше Превосходительство, слушаюсь.

Впоследствии, когда наши отношения улучшились, даже больше того, Брусилов стал ко мне относиться вполне дружественно, я ему этого: «рекомендую встать» — никогда не

забыл; во всех случаях, и на службе и вне службы, вскакивал, когда он вставал, садился, едва он опускался на стул; и на все его просьбы: «я вас покорнейше прошу сидеть», я, как манекен, то садился, то вскакивал. Он морщился, но отлично понимал, откуда шло это чинопочитание.

Прощаясь, по возвращении в Люблин, Брусилов сухо произнес:

— Я прошу вас представить мне завтра в 11 часов утра проект приказа о моем смотре казачьего полка.

Написать этот приказ была совершенная ерунда, и впоследствии писал их неизменно я, а Брусилов иногда что либо менял и подписывал. Это так не походило на моего предыдущего начальника — Ренненкампфа, который все строчил сам, после своих смотров.

Было бы не справедливо думать и утверждать, что всю свою карьеру генерал Брусилов проделал только благодаря кавалерийской выносливости и уменью нравиться высокому начальству. Это был способный человек, начитанный порою остроумный, великолепно натасканный, по службе в школе, профессорами Николаевской Академии, которые читали там лекции будущим эскадронным и полковым командирам. Но это был сухой, черствый, эгоист, строгий с офицерами, беспощадный к солдатам. У него не было другого наказания для рядового, не вставшего ему на улице во фронт, как 30 суток строгого ареста на хлебе и воде.

Однако, как только грянула революция, Брусилов, как хамелеон, перекрасил свою кожу. Будучи в это время главнокомандующим Юго-западного фронта, он первый нацепил на себя громадный красный бант, сорвал генерал-адъютантские вензеля, пожалованные ему Государем, заявив, что он всегда был революционером. Весь его штаб в тот памятный 1917-ый год был возмущен, когда, обходя почетный караул, он не поздоровавшись с офицерами, пожал руку не то правофланговому унтеру, не то барабанщику.

Осенью 1911-го года Брусилов женился. На казенной его квартире появились две очень милые женщины: одна — его жена, другая — сестра жены, обе дочери известной писательницы Желиховской. Была у них и третья сестра, по фамилии Блавацкая, известная теософка, постоянно жившая в Индии.

Присутствие женщин несколько смягчало характер этого человека. У них начались приемы, как говорилось, — «журфиксы». Елена Владимировна, 35-ти летняя барышня, довольно красивая, с чудесными зелеными глазами, сестра жены

Брусилова, мило кокетничала; хозяйка угощала гостей. Конечно, это были исключительно «сливки» люблинского общества; сам хозяин делался разговорчивым и острил. И все таки чувствовалась какая-то натянутость, и скорее хотелось выбраться на свежий воздух.

Брусилов продолжал делать свою карьеву. Возможно, что этому помогли оккультные силы Блавацкой, — Брусилов серьезно засел по вечерам за спиритизм и верчение столов. Вернее в его карьере сыграл роль большой маневр двух корпусов к северу от Люблина, наступавших друг против друга.

Посредники признали, что 14-ый одержал победу над 19-ым генерала Рауша фон Траубенберга; и эта победа была зачислена Брусилову в крупный актив. Мои шансы тоже поднялись. Упоенный успехом Брусилов горячо благодарил Леонтьева и меня и, пожимая руки, не без волнения в голосе, добавил:

— Я был бы доволен, если бы в будущей войне вы оба находились у меня в штабе.

Отличаясь бессердечностью не только к малым мира сего, но даже к своим ближайшим сотрудникам, Алексей Алексеевич Брусилов очень был чувствителен к лести, низкопоклонству и угодливости. В первом случае, мне припоминается падение с лошади, на меневрах, моего начальника штаба генерала Леонтьева, недавно вступившего в должность.

Брусилов на громадном гунтере, — его второй лошади, — крупнейшей рысью шел почти два часа без остановки, направляясь в какой то пункт на маневрах. Сзади едва поспевал галопом Леонтьев. Я с трудом держался непосредственно за командиром корпуса. Вдруг Леонтьев валится с лошади и без движения лежит на дороге: он страдал болезнью сердца и не выдержал такого напряжения. Подскакиваю к Брусилову и докладываю:

— Ваше Превосходительство, начальник штаба упал с лошади.

Не останавливаясь, Брусилов сухо бросает:

— Распердитесь, — он так произносил слово распорядитесь, — посадить его в коляску, или отвезти в лазаретную линейку.

И не интересуясь персоной своего начальника штаба, продолжал рысить дальше.

На тех же маневрах я убедился насколько Брусилов ценил низкопоклонство подчиненынх.

***

Инспектором артиллерии корпуса в то время состоял генерал Булгаков, носивший значек артиллерийской академии. Он несомненно был знающим артиллеристом, неглупым человеком, и быстро понял, как в этой должности можно сделать лучшую карьеру. И он ее сделал, изучив слабости своего ближайшего начальника.

Желая быть спокойным за выдвижение артиллериста на пехотную дивизию, прежде чем ему дать соответствующую аттестацию, Брусилов решил все же проверить тактические способности своего начальника артиллерии, и осенью устроил для него специальный маневр. Булгаков обязан был составить задание и лично провести наступление дивизии в составе воображаемого корпуса.

Совершенно беспомощный, он явился в штаб, где я временно исполнял должность начальника штаба, и униженно взмолился:

— Владимир Николаевич, выручите, составьте мне задачу и, если можно, дайте мне кого нибудь из вашего штаба, чтобы писать диспозиции.

Составил ему задание, и в начальники штаба, как бы в насмешку, дал ему поручика Солодовникова, офицера Ольвиопольского уланского полка, причисленного к штабу.

Булгаков этой услуги мне никогда не забыл. Маневр прошел благополучно, и наш инспектор артиллерии очень скоро увидел себя в роли начальника 25-ой пехотной дивизии в Двинске, у Ренненкампфа, бывшего в то время командующим войсками Виленского военного округа.

Возвращаясь в 1913-ом году со второй Балканской войны, и проезжая через Вильну, я посетил моего бывшего командира корпуса и был сердечно им принят.

— Ну, как у вас Булгаков, — задал я ему за завтраком вопрос.

— Ни черта не стоит, — ответил Ренненкампф.

И вот мы снова встретились с Булгаковым: сперва в Восточной Пруссии у Мазурских озер, где он командовал 20-ым корпусам, куда входила моя дивизия, а затем — при отступлении через Августовские леса, в феврале 1915-го года. Здесь мы расстались навсегда: перед самой Гродной весь его корпус был окружен немцами и попал в плен, вместе с ним и всеми его генералами.

***

Возвращаюсь, однако, к Брусилову.

Как у Пушкина: «судьба Евгения хранила», так и здесь: судьба ему благоволила. И больше, чем кому либо в течение всей войны.

Тяготясь полу-административной, полу-подчиненной должностью в Варшаве, Брусилов попросил дать ему снова корпус. Оно и понятно с его характером: он предпочел быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Варшава пришлась ему не по душе. У него не было ни одного подчиненного, никто ему не льстил, никто не боялся, он сам находился в подчинении у Скалона. Деятельность его сводилась к нулю, так как все вопросы в округе решались командующим войсками и его начальником штаба Клюевым. Их обоих Брусилов сразу не взлюбил и считал ниже себя.

Война застала его корпусным командиром в Виннице, в Киевском округе; а на войну он вышел уже командующим 8-ой армией. И вот началась полоса везения: противником оказались австрийцы, штаб составили прекрасные и очень способные офицеры Генерального Штаба, которые разрабатывали все операции.

Успехи его армии, и соседней генерала Рузского, обозначились с первых дней; австрийцев гнали, занимали один город за другим; пал Львов, за ним Перемышль; награды сыпались, как из рога изобилия. Грудь Брусилова украсилась Георгиевским крестом, золотое оружие свидетельствовало об его талантах.

На Северо-западном фронте картина была другая: за кратковременным успехом Ренненкампфа последовал Танненберг, отступление из Восточной Пруссии, «Августовские леса», хотя ни начальники, ни войска нисколько не были хуже тех, что били австрийцев. Но здесь наступали немцы — не чета австрийцам. И вместо дождя крестов и орденов всех степеней и оттенков, — самоубийство Самсонова, отчисление Жилинского, увольнение в резерв чинов Ренненкампфа и целого ряда высших начальников. Колоссальные потери помимо всего, и зависть к счастливцам австрийского фронта.

После долгого топтания на месте, Ставка решает покончить с позиционной войной и рвать неприятельский фронт.

И опять счастье на стороне Алексея Алексеевича Брусилова. Пытается сделать прорыв Эверт на Минском направле-

нии, продвигается на 5-6 верст и затем отходит на прежнюю позицию, потеряв до сотни тысяч солдат и среди офицеров 6 командиров полков.

Совершенно другая картина на фронте Брусилова. Великолепный знаток артиллерии, чрезвычайно способный полковник Кирей, которому было поручено уничтожение проволочных заграждений и пулеметных гнезд первой линии, — труднейшая задача без танков и авионов, — блестяще справляется с этой миссией: австрийский фронт трещит, войска лавой устремляются в прорыв. Имя Брусилова гремит по целому свету, — он герой и величайший полководец Российской Империи. Государь благодарит его рескриптом, посылает генерал-адъютантские вензеля и Георгия 3-ей степени на шею.

В Москве квартира его жены завалена цветами, поздравления сыпятся со всех концов России. Между тем, успех этого знаменитого прорыва был чисто тактический, более всего моральный, и серьезного стратегического значения не имел.

После отречения Государя, ухода Алексеева, генерал-адъютант Брусилов революционной волной выносится на некоторое время на вершину власти, и в Ставке занимает высший пост Верховного Главнокомандующего. Но остается недолго; в ноябрьские дни 1917 года, когда юнкера Александровского Училища оказывали последнее сопротивление большевикам, паливншим из пушек у Никитских ворот, случайный осколок влетел в дом, где у окна своей квартиры сидел Брусилов, покинувший незадолго перед тем фронт, и ранил его. В клинике профессора Руднева его оперировали.

Боясь большевиков, он не торопился оттуда выходить. Там я его и посещал несколько раз; а позже — на квартире, уже в 1918 году, примерно в марте — апреле.

Брусилов не успокоился и решил, что роль его еще не кончена, хотя и знал, что большевики шутить не будут, он все же согласился принять на себя скромную роль будущего диктатора России. «Должность» эту надлежало принять из рук тайной организации, куда входили: Кривошеин, Щепкин и целый ряд московских общественных деятелей, с офицерами Гренадерского корпуса. Знали большевики о планах Брусилова, или нет, но после покушения на Ленина он был арестован. Рассыпалась в прах и вся организация.

Накануне моего отъезда с семьей из Москвы на юг России, в начале сентября 1918-го года, ко мне на квартиру при-

бегают жена и свояченица Брусилова и со слезами умоляют:

— Вы едете через Киев, сделайте, что можете, чтобы освободили Алексея Алексеевича; там у Скоропадского немцы, они могут нажать на московских большевиков.

В Киеве я обратился к Кистяковскому.

Московский адвокат Игорь Кистяковский, весной 1918-го года, входя в упомянутую организацию, вербовал туда московских толстосумов и старших офицеров. Это был ловкач и мастер на все руки. В июле он уже очутился в Киеве, заделался «щирым» и получил не больше не меньше, как место министра внутренних дел у гетмана. Кистяковский высокомерно меня выслушал и заявил, что ничего делать для Брусилова он не желает.

О Брусилове все забыли. Но вот имя его снова появилось в печати во время русско-польской войны, когда Пилсудский пошел на Киев. Говорят, что Брусилов признал большевистскую власть, был выпущен на свободу; его прежняя популярность была использована Кремлем, и он до конца жизни служил новой власти.



Мой первый начальник штаба в Люблине, генерал-майор Владимир Георгиевич Леонтьев, был чудный человек, добряк, очень способный, блестяще окончивший Академию.

Служба в штабах корпусов в прежней России вообще была легкая, и не в пример штабам дивизии или округа, носила более полевой характер; мы заняты были лишь на маневрах, полевых поездках, командировках в войсковые части для тактических занятий с офицерами. Как и в Вильне, из штаба расходились рано, на службу являлись в 9 часов утра.

Леонтьев по вечерам играл обыкновенно в карты, я — в свои шахматы, у себя на квартире с хозяином дома, паном Подграбинским, обрусевшим поляком. Играл этот «проше пана» великолепно, но чрезвычайно осторожно и строго, pièce touchée, pièce jouée, постоянно приговаривая: «Остружность есть матка парцеляны» *.

Леонтьеву очень благоволил Клюев — начальник штаба

* Осторожность есть мать фарфора.

Варшавского Военного Округа, и уже в 1913 году перевел его к себе генерал-квартирмейстером.

В первые же дни войны оба они печально закончили свою карьеру. Генерал Клюев, командуя корпусом у Самсонова, попал в плен, с другим корпусным командиром, — а Леонтьева сделали козлом отпущения за этот разгром, и отчислили в резерв чинов.

Самсоновская трагедия общеизвестна. Ставка, во главе с Великим Князем Николаем Николаевичем, засыпаемая телеграммами Жоффра, о поддержке, торопила Жилинского — Главнокомандующего Северо-западным фронтом.

Начальником Штаба фронта был в это время генерал Орановский, генерал-квартирмейстером Леонтьев.

Жилинский, сносясь по прямому проводу непосредственно с Самсоновым, требовал от него немедленного перехода в наступление его пятью корпусами. Самсонов резонно отвечал, что у него в двух корпусах нет еще обозов, а тяжелая артиллерия еще не подошла. Жилинский, боясь Великого Князя, ни с какими доводами не желал считаться и, говорят, упрекнул даже Самсонова в трусости.

— В этом никто меня еще не упрекал, — ответил Самсонов; — Я слагаю с себя ответственность за все, что может произойти и, исполняя ваш приказ, перехожу границу.

Ставка, конечно, за собой вину не признала. Самсонов застрелился при отступлении, Жилинского отчислили, а за одно с ним и бедного Леонтьева. Оставили одного Орановского и то временно, дав ему в декабре I-ый кавалерийский корпус.

Леонтьев так и не получил больше никакой должности и умер под конец войны в Киеве, от порока сердца.

***

Орановский дальше корпуса не двинулся, хотя это был незаурядный генерал, превосходный военный, очень знающий и любимый всеми. Судьба его поистине трагична. Спасаясь от большевиков, по окончании войны, он перебрался в Выборг. Но вот однажды, в 1918-ом году началось вылавливание русских офицеров, их аресты и избиение. Предупрежденный, Орановский не успел переодеться, и в генеральской форме вышел из своей квартиры. Его увидели на мосту, окружили и собирались схватить. Тогда он бросился в воду

и поплыл; но нем открыли палбу и, когда он подплывал к берегу, отталкивали и, в конце-концов, пристрелили.

**
*

После отъезда Брусилова к месту нового назначения в Варшаву, в командование 14-ым корпусом вступил генерал-лейтенант Войшин Мурдас Жилинский. Он в течение нескольких лет состоял генерал-квартирмейстером, в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа у Великого Князя Владимира Александровича. Это был добродушнейший человек, мягкий, доброжелательный, необычайно вежливый и воспитанный. Большей противоположности между этими двумя лицами, им и Брусиловым, нельзя и придумать. Для каждого у него было любезное слово, и я никогда не видел, чтобы он кого либо разносил, или сердился. Но если у Брусилова была военная жилка и он от подчиненных требовал известных знаний, то Мурдас Жилинский, при всех своих качествах, был просто каптенармус. Никаких тактических учений он не производил, никаких проверок командирам полков и просто офицерам не делал, а посещая войсковые части своего корпуса, прежде всего направлялся в ротные кухни и хлебопекарни.

— А ну, ка, братец, взвесь мне твои порции мяса, — обращался он к кашевару.

— Ну, они у тебя не одинаковые, и много недовесков. Сколько полагается золотников?

— 23 золотника, Ваше Превосходительство.

— А у тебя вот и 21 не тянет.

— Ротный командир, — оборачивается Жилинский к командиру роты, — обратите внимание; и чтобы этого больше не было; буду взыскивать.

В хлебопекарнях было настоящее представление. Жилинский брал в руки каравай и внимательно в него внюхивался.

— Разрежь, — приказывал он хлебопеку.

Подносил краюху к свету и тыкал пальцем в мякиш.

— С закалом у тебя, братец, хлеб; плохо вымесил тесто и поставил в очень горячую печь.

Затем пробовал кусок, жевал и изрекал:

— С кислотцей у тебя хлеб; перестоял на дрожжах, а ты проворонил.

— Так тошно, Ваше Превосходительство, виноват, — отвечал перепуганный хлебопек.

— Командир полка, будьте любезны обратить на это тоже внимание.

После такого смотра, а они повсюду были схожи, как родные братья, Жилинский принимал приглашение откушать запросто в офицерском собрании.

Поразительная вещь, но всюду куда бы мы ни ездили, меню этих завтраков было выработано с тем же безнадежным однообразием, как и смотры командира корпуса. Заранее было известно, что после водки и закуски дадут осетрину, затем жареную индейку, цветную капусту с горошком и мороженное.

Приказы, как и у Брусилова, об этих смотрах писались в штабе, но носили уже чисто интендантский характер.

На войну генерал Мурдас Жилинский вышел со своим корпусом, на нем и застрял.



Жизнь моя в Люблине, без близкой Варшавы, а главное без моих поездок на войны, была бы совершенно тусклой и, по сравнению с Вильной, неинтересной. Приятелей, с которыми можно было бы развлечься, временами кутнуть, я не нашел. Иногда лишь прогуливался в Саксонском саду с дивизионным интендантом подполковником Новиковым; но он был мало развит, собеседник тусклый, однако, не взирая на это, пользовался успехом у женщин. Красивый, вечно улыбающийся, совершенно седой, несмотря на свои 35 лет, Новиков поразительно быстро знакомился и всегда начинал одной и той же стереотипной фразой.

— Прибавим шагу, — говорил Новиков, — кажется впереди хорошенькая гимназистка.

Иногда это была тяжеловесная матрона.

Прибавляем шагу, идем непосредственно сзади минуты две, и Новиков очень громко говорит:

— Как бы я хотел, чтоб эта ножка была моей.

Девица, или матрона, невольно оборачивается, видит этого улыбающегося штаб-офицера, который смотрит на нее влюбленными глазами, и начинает смеяться.

Новиков продолжает преследование и не унимается:

— Как бы я хотел, чтобы эта ножка была моей.

Все кончается знакомством и флиртом, с последствиями или нет, в зависимоси от зрелости и темперамента жертвы.

*
* *

Губернатором в Люблине был в мое время, камергер Келеповский, человек симпатичный. Не знаю, как он правил своей губернией, вероятно не хуже других губернаторов, но, не будучи состоятельным, не блистал как Виленский Любимов, и больших приемов не устраивал.

Губернаторша, дама моложавая, занималась, как полагалось, благотворительностью. Цыганского типа дочка, Фрейлина Высочайшего Двора, мечтала выйти замуж за богатого, но в этом не преуспела, хотя и сделалась княгиней не то в конце войны, не то в эмиграции в Сербии.

Как то летом устроила губернаторша в Саксонском саду гулянье с благотворительной целью и, как водилось в таких случаях, с лотереей. Главным выигрышем была корова. Является счастливец и желает получить эту рогатую скотину. Зовут городового, велят привести корову. Тот забегал по саду, — нет коровы. Тогда губернаторша, а она была дама властная, обрушивается на полицеймейстера Слижикова:

— Что за безобразие, где же корова? Извольте сейчас же ее найти.

Как ни был дисциплинирован Слижиков, но и он не утерпел:

— Какое мне дело до вашей коровы, вы мне ее не поручали, да затем я вам и не подчинен, чтобы вы мне отдавали такие приказания.

Губернаторша пожаловалась мужу, но тот только махнул рукой. Корова, кажется, все же нашлась.

Бедный Слижиков, бежавший при большевиках из Люблина, был найден своей женой в 1919 году в Киеве, когда туда пришел и временно его занял генерал Деникинской армии Бредов. Нашла она его в общей могиле — яме на Липках, среди сотен трупов. Большевики постарались.

*
* *

Долгие годы в должности вице-губернатора в Люблине состоял некий Селецкий. При каждой смене губернатора, Селецкий все ждал, что его, наконец, отметят и дадут ему в управление губернию. Однако, его всегда обходили. Очевидно, как и в Люблине, где его считали недалеким, в высших сферах он не расценивался дороже.

Человек с хорошими средствами, — у него где то в центральной России было крупное имение и даже Конский завод, — он смело мог бы обидеться и уйти в отставку. Но он упорно добивался своего, жил холостяком, ежедневно гулял по Краковскому Предместью, гонялся за гимназистками старших классов. Маленький, не очень красивый, успехом он не пользовался, хотя деньги делали иногда свое дело.

И вот он влюбился, безнадежно влюбился в губернаторскую дочку; дважды делал предложение и дважды ему отказывали. Затем, едва только началась война, прошло около недели, Селецкий заперся у себя на квартире. Не видя его на службе, Келеповский посылает за ним; время было горячее, все учреждения свертывались, австрийцы подходили к Люблину. Идут к нему в дом, направляются к запертой спальне, взламывают дверь и видять, что он висит; на полу валяется револьвер. Расследование установило, что он пытался сперва только повеситься, но неудачно, оборвалась веревка. Тогда он взял другую и, чтобы было вернее, одновременно пустил себе пулю в лоб.

Никто никогда не мог установить истинной причины этой трагической смерти. Да и время было не такое, чтобы этим интересоваться: в Люблинском госпитале в те дни тысячи раненых, за неимением мест, валялись прямо на полу, на соломе, и в мучениях умирали.

***

Мои двух-трехдневные поездки в Варшаву, обычно раз в месяц, примиряли с однообразной и мало интересной жизнью в городе Люблине. Варшава в те времена, с ее чудесной Уяздовской алеей, почиталась маленьким Парижем. В ней было все, чтобы повеселиться, развлечься, полюбоваться на красивых, элегантных варшавянок, получить истинное удовольствие в театрах.

Достаточно вспомнить хотя бы про театр «Новости», где первоклассная польская труппа разыгрывала, как бывало в Петрбурге, все оперетки — классические и новейшие. Известная Кавецкая, уже не молодая, но все еще красивая, вся усыпанная бриллиантами, чудесная певица, пользовалась неизменным успехом. Но еще интереснее была знаменитая Мессаль, — Мессалувна, когда говорили о ней с восхищением, или Мессалька, при упоминании о ее близости к гене-

рал-губернатору Скалону. Высокая, представительная красавица полька, прошедшая балетную школу, с приятным голосом, она была обаятельна во всех оперетках.

Трио: Мессаль, кумир варшавянок Редо и старый Мрозович в «Прекрасной Елене», вероятно, удовлетворили бы самого Оффенбаха не меньше, чем Шнейдер или Жюдик его эпохи, в парижском «Варьете».

По вечерам, ищущие легких побед, направлялись обыкновенно на Краковское Предместье, в кафе к Яцковскому или «Яцку», — в штаб-квартиру варшавского деми-монда.

Довольно часто мы ездили в Варшаву вдвоем с генералом Вартановым, сменившим Булгакова на должности инспектора артиллерии 14-го корпуса. Вартанова я знал еще раньше по Вильне, где он был командиром 27-ой артиллерийской бригады. Академик артиллерист Вартанов был большой знаток своего дела, ревностный служака и прекрасный военный. Армянин по происхождению, грузный, с большим сизым восточным носом, в свободное от службы время он не чужд был завести интрижку. В Люблине, где за ним зорко наблюдала жена, это ему плохо удавалось; поэтому он и норовил, когда представлялась возможность, прокатиться «по делам службы» в Варшаву.

Останавливались мы обыкновенно в Римской гостиннице, — «Хотеле Жимском», — как произносили поляки. В этой старой гостиннице, по преданию, останавливался Наполеон, идя на Москву.

Пообедав в гостиннице, направлялись обычно в театр, после чего Вартанов возвращался к себе в номер, — с генерал-лейтенантскими погонами делать эскапады у «Яцка», или в шантане «Оаза», было несколько зазорно.

На следующий день, встречаясь за завтраком, Вартанов, с видом победителя, мне по секрету сообщал:

— Я думаю, дюша мой, что провел время не хуже вас: какая замечательная горняшка застилала мне постель, ва!

— Ну, смотрите, — пугал я Вартанова, — придется вам через три дня нанести визит Радзевичу.

Радзевич был наш корпусный врач.

Прошло шесть лет, и я снова увидел Вартанова печального, обескураженного, постаревшего, с еще более красным носом, в Севастополе в 1920 году, за три месяца до оставления Крыма Белой Армией Врангеля. О женщинах он, по-видимому, забыл и думать.

— Что вы тут делаете, дорогой мой, — обратился я к нему.

— Груши околачиваю. Сколько ни просился у вашего Врангеля, ничего мне не дает. Чуть с голоду не помираю, состою в какой-то дурацкой комиссии на грошевом жалованьи.

После оставления Крыма я не знаю, что с ним случилось, и успел ли он спастись.

ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

В середине сентября 1911-го года, едва лишь кончились маневры, где так отличился 14-ый корпус генерала Брусилова, я неожиданно получил из Петербурга телеграмму, и содержание, ее меня сильно взволновало.

«Прошу срочно телеграфировать, не желаете ли отправиться в Триполи, в Африку, в качестве военного корреспондента Петербургского Телеграфного Агентства. Ламкерт.»

Не желаю? Да я только и мечтал поехать на эту войну итальянцев с турками; но совершенно не понимал, почему обращаются ко мне; и кто этот симпатичный Ламкерт, с которым я в жизни никогда не встречался. Иду к Леонтьеву, прошу двухмесячный отпуск; получаю без затруднения и телеграфирую:

«Согласен.»

Через сутки я был уже в Петербурге, на Морской, в Телеграфном Агентстве, у директора С. П. А. Ламкерта.

Меня любезно приветствовал высокий, не старый и очень представительный человек, и без лишних слов заявил:

— Желая иметь на только что начавшейся войне в Африке своего корреспондента, и притом военного, мы обратились к генералу Макшееву* порекомендовать кого либо. Он указал на вас, ссылаясь на то, что вы бывали часто заграницей, писали у него и, вероятно, говорите на иностран-

---

* Генерал Макшеев сперва состоял профессором в Академии, а затем — Главным Редактором Инвалида и Военного Сборника.

ных языках. Если вы примете наши условия, Вам надлежит испросить разрешение у вашего начальника генерального штаба генерала Сухомлинова и явиться к Гирсу, для окончательной конфирмации. Гонорар: 1000 рублей в месяц, полторы тысячи на поездку, по 10 рублей за телеграмму, не считая ее стоимости.

Такая голконда, мне и во сне не снилась, и я немедленно согласился.

Сухомлинов никаких препятствий для моей поездки не видел, задал несколько вопросов и отпустил, пожелав счастливого пути.

Гирс, бывший Российский посол в Турции, — я так и не узнал какое отношение он имел к этому С. П. А., — кажется, нашел меня лицом подходящим для столь ответственной миссии и дал согласие. И вот, заполучив 6 пятисотенных билетов, а это были не нынешние кремлевские рубли, я помчался к моему дорогому дядюшке Николаю.

— Володя, — обрадовался он, — надо спрыснуть в «тихой обители» такое событие. Кто знает, тебя может еще ухлопают турки или арабы в африканской пустыне, так перед смертью полагается тряхнуть стариной, едем вечером к Родэ.

— Нет, уж поедем после возвращения, а теперь, если хочешь, скромно позавтракаем.

— Ну, ладно, — согласился Николай, — поедем в Мало-Ярославец, там замечательные закуски, и я позову Мишу.

— Какого еще Мишу?

— Как какого Мишу? — удивился мой родич, — да Михаила Николаевича Мазаева, из Новаго Времени, может он тебе тоже пригодится.

Мазаев, ответственный редактор крупнейшей Российской газеты правого направления (а неответственным, то есть тем, кого в тюрьму не сажали за антиправительственные статьи, был Михаил Суворин — старший сын покойного старика Суворина), оказывается, состоял в родстве с моим дядюшкой, — оба были женаты на родных сестрах.

И вот мы за завтраком в Мало-Ярославце, на Александровской площади.

Познакомившись со мной, и узнав при каких обстоятельствах СПБ. Телеграфное Агентство избрало именно меня — провинциала, а не какого либо видного персонажа из Главного Штаба, корреспондентом своим, этот Миша мною за-

интересовался. И после третьей рюмки водки милостиво предложил:

— Попробуйте, посылайте нам ваши статьи; если подойдут, будем печатать, дадим 20 копеек за строку.

— Благодарю, попытаюсь угодить.

— Ну, Володя, докажи этим нововременцам, — теперь вся Европа на тебя смотрит, — обрадовался мой Николай Иванович, и потребовал «Клико Энглянд». Это был его любимый напиток, и он ему никогда не изменял.

Разошлись мы поздно. Мазаев отправился в редакцию, я поехал, уложить чемодан, и прямо на Варшавский вокзал; к себе в Люблин.

Брусилов очень дружелюбно меня принял; ему было приятно, что выбор в такую необычайную командировку выпал на его подчиненного, а главное, что я легко получил аудиенцию у самого Сухомлинова — без пяти минут Военного Министра.

Взяв билет Люблин-Варшава-Рим, я через двое суток уже был в Риме.

***

Военные действия в Триполи только что начались с обстрела тяжелыми орудиями флота немногих береговых турецких батарей. Праллельная операция намечалась против Бенгази, в Киренаике; там защищался сам Энвер-бей, младотурок, один из главарей, упразднивших султана Абдул-Гамида в 1909 году.

Разрешение для коррепондента одного из главных мировых агентств и самой значительной российской газеты было получено в два счета чрез нашего военного агента, полковника Генерального Штаба князя Волконского. А вечером, у светлейшего Волконского — дипломата, состоявшего при Папе — мы обсудили за ужином, как и во что мне следовало обрядиться. Решено, что лучше всего подойдет форма итальянского офицера. В 24 часа в офицерском экономическом обществе мне сшили мундир и галифе, снабдили колониальной каской, напечатали визитные карточки corrispondente speciale dell'Agencia telegrafica di Pietroburgo «имя рек», — и я, сев в поезд, поехал в Сицилию, откуда отходил пароход.

Первая остановка — Мальта, где почему то нужно было пройти через английский карантин. И вот я в Триполи.

Являюсь в штаб экспедиционного корпуса генерала Ка-

невы, занявшего замок турецкого паши, покинувшего город при первом выстреле, и спрашиваю сведения об успехах итальянских войск. Получаю отпечатанный бюллетень:

— Море спокойно, высадка продолжается успешно.

Для начала немного; телеграфирую, обескураженный, Ламкерту и иду подыскать себе квартиру, познакомиться с городом, с собратьями по перу, узнать более интересные подробности устным путем.

Триполи был в то время типичным турецко-арабским городом, с кривыми узкими улицами, отвратительно замощенными, большим крытым от солнца базаром, массой кофеен и громадным, окружавшим со всех сторон город, пальмовым оазисом.

Население состояло из турок, арабов, мальтийцев и «спаньолов» — евреев, некогда изгнанных из Испании.

Непосредственно за оазисом начиналась Ливийская пустыня, с редкими населенными пунктами — оазисами. Во времена Римской Империи это была цветущая страна, а после завоевания Триполи, итальянский строительный гений начал понемногу обращать пустыню в колонию, куда потекли тысячи сотен землепашцев и рабочих из метрополии.

История, в свое время, быть может помянет добрым словом Муссолини за все то, что он сделал в Северной Африке.

Триполи мне лично понравилось, особенно та часть, где были базары. Это напомнило Ташкент, — его туземную часть. Кофейни были похожи на наши сартовские «чай-хане», с тою только разницей, что вместо чая, турки, поджав одинаково, как все азиаты, ноги, тянули здесь целыми днями свое чудесное кофе, и так же, как сарты, курили наргиле-кальян.

Отыскав довольно быстро себе комнату в квартире какой то подозрительной француженки, я уже в первые дни свел знакомство с моими коллегами, итальянскими и иностранными корреспондентами. Все они собирались за завтраком в громадном, специально оборудованном для них ресторане.

Здесь я встретил знаменитого Бардзини из Corriere della Serra, братьев Скарфолию, Золи, из Миланской левой газеты Mattino, где он работал вместе с Муссолини. Они были приятели, и когда «Дуче» превратился в диктатора, Золи был у него министром. С этим Золи мы очень подружились и, по окончании войны, он мне прислал в Люблин свою книгу, с трогательной надписью.

Вскоре, примерно через месяц, на нашем горизонте появилось двое соотечественников, сперва корреспондент московской газеты «Утро России» — Мамонтов, а затем вслед за ним ее хозяин, московский банкир Владимир Павлович Рябушинский, один из пяти, или шести братьев этой плеяды Рябушинских, московских староверов.

Николай Петрович Мамонтов, в прошлом офицер гвардейского стрелкового полка, откуда его попросили уйти за женитьбу на актрисе, был только однофамильцем московских Мамонтовых. Он великолепно писал и был вполне на своем месте для легких фельетонов, где не требовалось специального образования настоящего военного корреспондента.

Во время русско-японской войны, в том же стиле интересного фельетониста, был лейб-казак Краснов, впоследствии атаман Всевеликого войска донского, кончивший свою жизнь на сталинской виселице, после взятия Берлина.

Предполагая, что доблестные войска генерала Каневы вскоре начнут свои наступательные операции, я почел нужным обзавестись перевозочными средствами. За триста франков был куплен великолепный дромадер, за сто пятьдесят — арабская небольшая, но очень выносливая лошаденка, а за семьдесят пять — осел. Верблюд оказался совершенно излишним. Канева не торопился скоро наступать. Решил сперва сосредоточить крупные силы и особенно легкие и тяжелые орудия. И на это ушло больше двух месяцев.

Турок было почти не видно, — больше приставшие к ним арабы. Итальянцы постепенно вытеснили их из северной и восточной части оазиса и заняли его опушку. Впереди была пустыня и ни одного человека на горизонте. Какие-то неизвестные неприятельские группы держались в чащах леса на восточной половине оазиса и доставляли немало хлопот берсальерам.

Стрельба со стороны итальянцев велась беспрерывно в самом оазисе; противник в пустыне держался на большом расстоянии. Ежедневно, то на лошади, то на «ишаке», причем ноги у меня болтались чуть ли не до земли, я добросовестно с 6-ти утра объезжал позиции. Надо было о чем то доносить в Петербург, т. к. итальянская главная квартира неизменно ограничивалась стереотипной фразой:

— Море спокойно, высадка войск продолжается.

Иногда только море из спокойного превращалось в бурное.

Кое что всетаки происходило; в оазисе велась перестрелка, причины ее можно было узнавать только в войсковых частях, а не в штабе. Несколько эпизодов были очень характерны, о них скрывали, но мне удалось выяснить подробности, сообщить об этом в СПА и в Новое Время, минуя строгую цензуру, через посредство французского консула, очень обязательного человека.

Самым крупным событием явилось окружение ночью целого батальона пехоты в лесу, захваченного врасплох партизанами; очевидно сторожевая служба велась безалаберно, и в результате от целого батальона не уцелело в живых почти ни одного человека. Их всех вырезали и, по обычаю предков, начисто оскопили и еще надругались.

В кантине, встретив через день Маринетти — отца футуристов, я довольно неосторожно задал ему неприятный вопрос:

— Как же это случилось, que tout un bataillon fut massacré.

Маринетти, горячий патриот, буквально озверел: ce n'est qu'une fable, les italiens ne peuvent pas être massacrés!

— Вы распространяете заведомо ложные сведения.

В итоге мы решили драться, но бравый итальянец быстро остыл, и от дуэли отказался. Мы остались врагами навсегда.

Вторая неприятность у итальянцев приключилась в один воскресный день, когда солдатня болталась по городу. На базаре фанатик араб пырнул ножом мирно гуляющего берсальера.

Началась буквально паника во всем городе. Все бросились бежать: солдаты, население с криками:

— Arabi, árabi! — и вскоре на улицах не было ни одной живой души.

Я, с неким Глесговичем, неаполитанским жителем, не знаю был ли он итальянцем, но жуликом и трусом — во всяком случае, — завтракали в это время в каком то частном пансионе, — кантина стала приедаться. Глесгович со страху полез под стол, хозяйка завизжала; я выскочил на улицу с револьвером.

Все бежало. Никакого народного восстания, однако, не последовало, и к вечеру все пришло в норму. Канева принял серьезные меры, выставив повсюду караулы и выслав патрули.

Потом рассказывали, что это нападение знаменовало собой начало переворота.

Все оказалось вздором. Ни один человек за этим арабом не пошел, и его на другой день публично расстреляли на площади, на глазах всего населения. Араб, не моргнув глазом, принял смерть от взвода солдат.

Вспоминаются еще два эпизода.

На опушке оазиса, возле могилы какого-то святого — «марабу» — стояла одна из многих батарей, великолепно замаскированная. Командир подполковник, симпатяга парень, говоривший по французски, сообщал новости, и я часто к нему заезжал на своем «арабском скакуне». Сам он устроил себе из мавзолея святого наблюдательный пункт, провертел дыру в одной из стен и оттуда следил, не появится ли на горизонте опасный враг.

Когда приехал Рябушинский, я предложил ему прокатиться на позицию к моему итальянцу и приветствовать его шампанским.

Артиллерист, прапорщик запаса, Владимир Павлович, с удовольствием согласился, шампанское купил на свой счет, и мы, взяв парного извозчика, отправились.

Неприятель, повидимому, нас заметил и стал обстреливать редким артиллерийским огнем.

С пехотных позиций, с недоумением и любопытством, наблюдали, что будут делать под шрапнелью эти сумасшедшие русские.

Извозчик араб норовил уже повернуть обратно, но не посмел, и мы подкатили, не мало не смущаясь, к святому месту. Командир батареи был потрясен нашей смелостью, растроган подарком, но тут же заметил, что мы своим присутствием открываем его наблюдательный пункт и что ему, вероятно, влетит за прием непрошенных гостей.

Не знаю, что ему сказало начальство, но я был предупрежден, что мне запретят, при повторении, посещать позиции. Я все же ежедневно продолжал ездить и совать свой нос куда не следует.

Подъезжаю в одно прекрасное утро к пехотным окопам. Привязываю лошадь под горкой к гранатовому кусту, подымаюсь в ближайший окоп, — по итальянски «тринче», — пусто. Иду в сеседний; человек десять лежат на дне пластом, уткнувшись в песок. Унтер подымает голову, смотрит на меня со страхом и шепчет:

— Араби, áраби.

Видя, что я стою, подымается и объясняет: арабы ночью

обошли их роту и засели сзади вот в том доме с садом, в полу-версте, и перестреляли у него часть людей.

Действительно, три или четыре человека лежали убитые в его траншее.

— Какой вздор, — говорю, — я проезжал близко, никаких арабов не видел.

Вынимаю револьвер и направляюсь к этому дому.

Никакого намека на арабов, — лишь группа притаившихся за стеной итальянских пехотницев.

Оказалось, что ночью часть солдат бросила соседние окопы, якобы под натиском противника и, засев в этом каменном доме, палила куда попало. Они и убили своих товарищей впереди.

Вернулся и объяснил подоспевшему командиру роты, что в тылу находятся его же солдаты, а не арабы. Тот начал на меня орать:

— Вы ходите здесь открыто, ездите верхом и привлекаете на нас неприятельский огонь; я покорнейше прошу вас отсюда убраться.

***

Итальянская кампания, эта проба пера для последующих выступлений Италии в двух больших войнах, уже тогда заставила подозревать, что итальянская армия еще не прошла серьезной школы и едва ли явится ценным партнером для своих союзников.

***

Прошло почти два месяца, отпуск мой кончался, и не дождавшись когда Канева сдвинется с места, я начал снаряжаться в путь.

Отправились мы вместе с Рябушинским. Его Мамонтов остался еще на месяц, получив от меня в подарок коня и верблюда.

Владимир Павлович Рябушинский был интересный человек. Очень образованный, хорошо знавший два иностранных языка, он кончил Московский Университет, а затем учился еще в Германии.

Его мысли порою были очень оригинальны, другие совершенно неожиданны; с ним не приходилось скучать, пока мы ехали вместе. Ехали почти без приключений, если не счи-

тать, что у него, при переезде из Сиракуз на лодке на Калабрийский берег, маффия стянула новое пальто. Об этом пальто он часто вспоминал и огорчался. А между тем, чего бы кажется думать о таких пустяках, когда сам он как то проговорился:

— Удивительно дешево обошлось мне это путешествие, взял тридцать тысяч, и пятнадцати не истратил.

В Мессине, до отхода поезда, бродили по развалинам недавнего землетрясения, а затем пошли завтракать в уцелевший чудом ресторан. Рядом ел макароны итальянский капитан, тщедушный, но симпатичный. Разговорились с ним, разговор шел по французски, и вскоре узнали, что это князь Колонна. Темой оказалось, вполне понятно, война; мы по разному оценивали успехи доблестных итальянских войск, — князь, естественно, не соглашался с моей откровенной критикой. И вот, в пылу спора, я чуть ли не хлопнул его дружески по колену и заявил:

— Ну, mon cher, я считаю, что с таким количеством войск и вооружения, ваш Канева давно мог бы выползти из этого Триполийского мешка.

Рябушинский заерзал на стуле. И, едва мы вышли на улицу, чтобы осмотреть развалины Мессины, он тут же на меня набросился:

— Послушайте, Владимир Николаевич, как же это вы позволили себе обратиться к такой персоне, как князь Колонна, древнейшая фамилия в Италии, с выражением "mon cher"?

— Что же вас удивляет? Для меня он всего лишь итальянский капитан. Возможно, что его предок был настолько смел, что не побоялся даже ударить по физиономии Папу Бонифация, но этот Колонна не произвел на меня впечатления отчаянного бойца.

Еще больше меня удивил и поразил достойный Владимир Павлович, когда, сидя в вагоне и болтая, он, вдруг, высказал не совсем обычное желание:

— Вы знаете, что мне часто приходит в голову? В нашем ответственном деле, и для того, чтобы ему отдаться целиком, нужно совершенно не думать о женщинах. Они входят в нашу жизнь, часто делают нас безвольными, влюбленными, чуть не своими рабами, и отвлекают от работы. И я серьезно и часто думаю не отрезать ли себе... волосы.

— Чудесная идея, — поддержал я Рябушинского, — «Московский банк», вероятно от этого только бы выиграл.

Но наступила Великая война; в ней Рябушинский дослужился до штабс-капитанского чина, а в 1917-ом году зимой я его уже видел в Ялте, в гостиннице «Россия». Владимир Павлович, бежав из Москвы, жил со своей женой, которая, надо думать, не сыграла с ним роли Далилы.

Банковские операции братьев Рябушинских привели их всех только к разорению. Начали они в Ялте, кончили в Париже, где и проживал Владимир Павлович, ведя очень скромную жизнь.

***

В Петербурге, по возвращении с войны, меня ожидал настоящий триумф. Ламкерт очень благодарил:

— Ваши телеграммы мы получали раньше телеграмм Рейтера и они оказывались более полными и интересными; агентство находит справедливым выдать вам дополнительно тысячу рублей.

Я был приятно растроган, но не считал, что сделал больше чем следовало.

В редакции «Нового Времени» сам Михаил Суворин специально вышел из своего кабинета, чтобы высказать свое удовлетворение. Сотрудники пожимали руку новому коллеге. Мазаев выписал крупный чек и дружески заметил:

— Ну, теперь вы наш, и если будет новая война, мы на вас очень рассчитываем.

Приятно вспомнить и то, чем я доставил удовольствие также и Брусилову.

В одной из своих статей в «Новом Времени», где я подписывался двумя буквами — В. Д., у меня проскользнула фраза, не помню по какому поводу:

«За такую разведку известный кавалерийский генерал Брусилов посадил бы этого юношу дня на три на варшавскую гауптвахту.»

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА

Не прошло и года, как два балканских народа, болгары и сербы, почувствовали, что наступило время расширить свой "espace vital". Турецкая Империя могущественного Абдул-Гамида начала трещать по всем швам при всех этих Талаате, Джемале и Энвер-Бее.

В конце лета Турции была объявлена одновременно война — болгарами и сербами.

На этот раз уже лично сам Михаил Суворин заключил, в присутствии Мазаева, со мной соглашение. Главное условие, что ни в какие другие органы печати я писать не должен; гонорар: 1½ тысячи рублей — подъемных, тысяча — на дорогу, тысяча в месяц — жалованья, и по 30 копеек за строку. Телеграммы оплачиваются особо.

Другим корреспондентом от газеты поехал «передовик», профессор Пиленко.

Помимо местного начальства, как и в первом случае, надлежало получит согласие на такую поездку от Начальника Генерального Штаба. Должность эту занимал уже Жилинский. Не Войшин Мурдас а просто Жилинский, по прозвищу «живой труп», за свой землистый цвет лица. Это был тот самый Жилинский, который два года спустя послал на верную гибель армию Самсонова.

К моему счастью, Жилинского в Петербурге почему то не было и я, не смущаясь, отправился прямо на квартиру к Сухомлинову — уже Военному Министру, и был немедленно им принят.

— Начальника Генерального Штаба нет, я осмеливаюсь беспокоить Ваше Высокопревосходительство, и прошу разрешения ехать в болгарскую армию от Нового Времени.

— Ну, конечно, поезжайте; будем опять читать ваши статьи, — чрезвычайно любезно, пожимая мне руку, ответил Сухомлинов.

Велико было значение Суворинской газеты в царской России. Разве я осмелился бы, при других обстоятельствах, итти на частную квартиру министра, да еще в неприсутственный час. И впоследствии, передо мной всегда широко от-

крывались двери кабинетов министров Европы, а у наших послов и посланников я встречал неизменно самый радушный прием.

Путь на войну лежал через Одессу, по Черному морю в Констанцу, и далее в Бухарест. Болгарская Варна была блокирована турецким флотом; приходилось, чтобы добраться до Софии, ехать через Румынию.

В болгарской столице собралось не мало нашего брата, — корреспондентов русских газет; все они нашли сердечный прием у «братушек». Тут был старый ветеран Василий Иванович Немирович-Данченко, сподвижник Скобелева, — за ним особенно ухаживали болгары; — Брешко-Брешковский от Биржевки; тот же Мамонтов из Утра России, и другие.

К нашему приезду мобилизация была закончена и начались военные действия на двух театрах: во Фракии наступали тремя армиями болгары, с придачей сербского корпуса Степановича; в Македонии действовали сербы. Главнокомандующим у болгар был сам царь Фердинанд.

В смысле информации о вооруженных силах, я оказался в исключительно привилегированном, в сравнении с другими журналистами, положении. Наш военный агент, полковник Юрий Романовский, — с ним мы очень подружились — делился со мной всеми сведениями, которыми сам располагал. Помино того, я оставался в своей военной форме полковника Генерального Штаба и был всюду допущен, почти без всяких ограничений. Все это, вместе взятое, дало мне богатый материал для газеты, куда я регулярно, почти через день, посылал длинные статьи, с приложением схем о происходящих операциях: сперва под Адрианополем, позже у Чаталджи, в армиях Радко Дмитриева и Кутынчева.

**
*

Генерал Радко Дмитриев, — «русский воспитанник», как и многие болгарские офицеры, получившие образование в наших кадетских корпусах, был ярый руссофил и отличный генерал. Он доказал свою преданность России в I-ую Великую войну, когда «благодарные болгары» выступили против своих освободителей на стороне Германии. Радко Дмитриев уехал в Россию и на северо-западном фронте у генерала Рузского получил сперва корпус, а затем армию. Во время гражданской войны этот рыцарь воин, с тем же Рузским, как я уже упо-

минал, был зверски убит большевиками в Пятигорске в 1918 году.

В армии болгарского генерала Иванова, — в нее входили и сербы Степановича, — я пробыл около недели. Иванов осадил Адрианополь, обстреливал из орудий главные форты, весьма примитивного типа, и в конце войны овладел крепостью, взяв в плен коменданта Шукри-Пашу.

Радко Дмитриев и Кутынчев победоносно шли вперед, почти до самого Константинополя, но уткнувшись в Чаталджинскую укрепленную позицию, продвинуться дальше не могли. После взятия Адрианополя, по-турецки Едирне, турки запросили мира.

* * *

Наиболее интересные операции вел Радко Дмитриев. При его армии находился представитель Русского Красного Креста Александр Иванович Гучков и военные корреспонденты: Немирович-Данченко, из «Русского Слова»; из «Утра России» — Мамонтов, и я — «Нового Времени». Других не пустили. Мы постоянно встречались за обедом и ужином в штабе Радко Дмитриева, под Чаталджой.

Вскоре в войсках появилась холера, со многими смертными случаями, и Гучков оказал большую услугу болгарской армии санитарными средствами, присылаемыми из России. У Радко он был «персона грата», и с ним очень считались.

В гораздо более скромной роли я встретил Александра Ивановича в 1917 году, при отходе наших войск на русско-румынскую границу и в Бессарабию. У него только что отнял Керенский военное министерство и он явился к нам, в конный корпус Врангеля, в форме пехотного прапорщика, в солдатской шинеле. Пробыл он недолго, держался как-то неуверенно и имел скорее сконфуженный вид.

В Крыму, во время гражданской войны, ему окончательно не повезло. Не знаю с какою целью, летом 1920 года он приехал из Парижа в Севастополь. На Приморском бульваре его однажды увидел начальник Врангельского конвоя ротмистр Баранов, человек необузданного нрава и черносотенного направления; подошел к нему со словами: «ах, это вы, Гучков», — и хватил его по физиономии.

Врангель, кажется, разжаловал Баранова, а Александр Иванович немедленно покинул Крым.

Затем мы изредка встречались в Париже, где он и умер перед самой войной, в 1939 году.

**
*

Интересной фигурой был Василий Иванович Немирович Данченко, брат московского, — создателя Художественного театра. Крепыш, библейского вида со своими седыми волосами и бородой, среднего роста, очень плотный, он целые сутки, несмотря на свои 60 лет, мог сидеть на лошади и после этого еще строчить свои фельетоны. Плодовитый писатель, попав теперь снова в Болгарию, он жил воспоминаниями о русско-турецкой войне, и имя Скобелева, у которого он состоял ординарцем, не сходило у него с уст. Я помню, с каким волнением зачитывались мы в корпусе его книгой «Белый Генерал», и мечтали о подвигах.

Василий Иванович с гордостью нацепил на свой пиджак орден солдатского Георгия и с ним не расставался. Дал ли ему Скобелев этот крестик за описание его легендарной храбрости, или Немирович Данченко действительно отличился в стычках с турками, — сказать было трудно. Но что он имел самое отдаленное понятие о военном деле, так это вытекало изо всех его фельетонов, которые он строчил своим печатным почерком для «Русского Слова». Газета иногда приходила из России. Мы читали описания их заслуженного корреспондента и качали головой, поражаясь его неистощимой фантазии.

Да, недаром нашего уважаемого коллегу называли нередко, за глаза, «Немирович Вральченко».

Припоминаю один из его шедевров.

В скучный осенний день, под холодным мелким дождем, мы проезжали через брошенное греческим населением небольшое, грязное село, по наименованию Демотика. Всюду были видны следы пожара, полуразрушенные постройки, на улице издыхающие буйволы болгарских обозов.

Слезаем возле какого-то сарая передохнуть и закусить. Входим в этот сарай и видим на земле голую мертвую женщину и рядом труп девочки подростка. Догадываемся по их позам, — что они были изнасилованы, а затем убиты. Во всех войнах, во все времена, — это печальная участь женщин, и уходящая турецкая армия от этого правила не отступила.

В тот же день в «Русское Слово» полетел бойкий фельетон. Некоторые пассажи навсегда врезались в память.

«Демотика. Милая Демотика. Вспоминаю как мы со Скобелевым въезжали в этот красивый город, осыпаемые цветами. На пороге одного дома стояла красавица женщина с кувшином молока и предложила нам выпить. Скобелев слез с коня и мы зашли в ее дом...» Продолжалось длинное описание и затем заключение: — «и вот я снова в этой чудесной Демотике, пострадавшей от пожара и полуразрушенной. Я сразу узнал тот гостеприимный домик, где Елена нас поила молоком со Скобелевым. В доме ни одной души; я вхожу во двор и вижу потрясающую картину: на земле лежит гречанка с распоротым животом и в нем... мертвый поросенок. Подхожу ближе и что же? Елена. Та самая Елена, которая...»

Не помню, что он еще нагородил про Скобелева и Елену.

На Чаталдже мы сообща заняли, по отводу штаба Радко Дмитриева, один дом. В селении не оставалось ни одного жителя, ни турок, ни греков. У каждого из нас была своя комната. К себе я пустил Мамонтова. Холера косила понемногу солдат, в штаб-квартиру навезли известки, кругом шла дезинфекция. Василий Иванович впал в совершенную панику, брызгал у себя и кропил, и почему то на грудь надел какую-то тряпку, вроде детского слюнявчика.

— Зачем это вы обрядились в слюнявчик, дорогой Василий Иванович? — обращаюсь я к нему.

— Какое вам дело, — обиделся он, — вот лучше давайте сотрудничать вместе. Бросьте ваше «Новое Время», где вам платят только тысячу рублей; я вам дам три тысячи в месяц. «Вы будете разводить вашу стратегию, а я — наводить арабески».

Можно было подумать, что старик совсем спятил. Однако он не мог все же не чувствовать, что нельзя читателя без конца кормить только одними сказками и сочинять всякий вздор.

Захожу как то в комнату Василия Ивановича; его не было. На столе лежит маленький блокнот, вся страница исписана мелкими, почти печатными буквами. Едва я успел прочесть, из весьма непохвального любопытства, первую строку: «Рота шла и заблудилась», — как прибегает автор.

— Боюсь, не холера ли у меня, — тревожным голосом произносит Немирович Данченко.

Затем садится и начинает писать в этом же блокноте. Пи-

шет быстро, без единой помарки: а если фраза или слово не нравится, подчищает резинкой.

— Про какую это роту, дорогой Василий Иванович, вы рассказываете, что заблудилась? — наивно спрашиваю его.

— Как вы смеете читать чужие бумаги? — кинулся он на меня, весь красный как рак.

Но вскоре, однако, отошел, немного поворчав. Через неделю мы разъехались и расстались друзьями.

***

Возвращаясь с Чаталджи, я проезжал через Филлипополь, который болгары почему то окрестили в малозвучный Пловдив. Здесь стоял болгарский санитарный поезд и в нем находилась, в качестве главной сестры, жена Фердинанда царица Евдокия.

Некрасивая, но очень простая и милая женщина, она без всякого этикета приняла меня в своем вагон-салоне.

Не помню на каком языке мы говорили, вероятно по французски. Она была чрезвычайно мила, и, не знаю почему, одарила меня массой фотографий, среди которых фигурировали открытки: ее, в форме сестры милосердия, и ее детей — Бориса, будущего царя, и его брата Кирилла.

В Софии наш посланник Нехлюдов приветствовал нас корреспондентов завтраком; затем принимал у себя болгарский митрополит.

Романовский, — а у него я почти ежедневно бывал до отъезда в Россию, передавал всякие новости и сплетни.

Вскоре наступило перемирие и заключен мир.

Болгария получила, вместе с Адрианополем, не только всю Фракию, но и часть греческой территории, с Кавалой и Ксанти, где разводились, и поныне разводятся, для папирос лучшие табаки.

Сербии досталась почти вся Македония.

Мой отпуск кончался, и я вернулся в Россию к месту службы в Люблин.

ПРИЕМ У ГОСУДАРЯ

Не прошло и месяца после моего возвращения с Балканской войны, как совершенно неожиданно в штабе корпуса была получена депеша на мое имя, приведшая не только меня, но и все мое высокое начальство, в понятное смущение:

«Его Императорское Величество Государь Император всемилостивейше желает принять вас и выслушать ваш доклад о военных действиях на Балканах. Благоволите прибыть в Царское Село в такой-то день и час. Нарышкин».

Кому я обязан такой высокой честью? Кто мог сообщить Государю о существовании скромного полковника Генерального Штаба, проходившего службу в провинции, вдали от Петербурга?

Проезжая через Вильну, посетив Ренненкампфа, понял, что это ему и князю Белосельскому-Белозерскому, я обязан аудиенцией у Русского Императора.

В назначенный день, около 11 часов утра, я прибыл на вокзал в Царское Село. Здесь уже стоял придворный экипаж, запряженный парой, с форейтером на козлах. Одновременно со мной приехал, тоже в полной парадной форме, Николай Иудович Иванов, командующий войсками Киевского военного округа. Тот самый Иванов, что в начале войны командовал юго-западным фронтом, и с Алексеевым бил австрийцев.

В приемной, рядом с кабинетом Государя, кроме нас двоих и дежурного флигель-адъютанта Шебеко, никого не было. У дверей кабинета стоял важный сановник, с грудью увешанной орденами. По неопытности, и не разбираясь в придворных чинах, я принял его за камергера, хотел уже отвесить поклон, но оказалось, что это был только камердинер Николая II. Он впускал и выпускал посетителей, называя фамилию, передаваемую ему дежурным флигель-адъютантом.

Около 12 часов дня из кабинета Государя выходит Жилинский, — «живой труп», — Начальник Генерального Штаба. Видит меня, окидывает удивленным взором, и сухо спрашивает:

— Вы по какому случаю здесь?

Докладываю.

— Странно, — уже со злобой произносит Жилинский и, не подавая руки, уходит.

Жилинский никак не мог переварить, что я уехал на войну без его разрешения, а с согласия своего строевого начальства.

Перед тем, как меня впустить в кабинет Царя, Шебеко предупредил: — Не задерживайте Государя, мы скоро должны завтракать.

Камердинер распахнул двери, я вошел.

Передо мной стоял Государь

Готовясь к приему, я, естествено, волновался; и вдруг увидел перед собой просто одетого в малиновую рубаху, подпоясанную кушаком с кистями, гвардейского полковника *, с добрыми голубыми глазами и ласковой улыбкой. Во всей его фигуре было столько простоты, отсутствия всякой позы, что как то даже не верилось, что это и есть Русский Царь, Император и Самодержец Всероссийский, облеченный неограниченной властью.

Насколько одна внешность Александра III приводила подданных в священный трепет, настолько его Августейший сын был лишен всякого царственного величия.

Я назвал себя, как полагалось. Царь подал мне руку и продолжая стоять, произнес:

— Читал ваши статьи в «Новом Времени». Расскажите теперь, что видели.

В течение получаса я говорил; Царь изредка прерывал вопросами, и остался очень доволен, когда я упомянул, как высоко оценил болгарский народ помощь оружием, снаряжением и санитарными поездами, посланными в Болгарию Россией, по воле Его Величества.

Окончив доклад, вынул из кармана сделанные на войне фотографии и предложил их Государю. Вместе с ними находились открытки, подаренные мне Царицей Евдокией в Филлипополе, в ее санитарном поезде.

Царь взял фотографии, вернул мне открытки:

— Ну, это мне не надо, они у меня есть, оставьте себе.

Аудиенция кончилась; Император милостиво протянул на прощанье руку, я вышел.

---

* Форма стрелков Императорской фамилии.

Флигель-Адъютант, посмотрев на часы, торопливо провел меня в гофмаршальскую часть, где в столовой уже был сервирован завтрак. За соседним столом сидел Николай Иудович Иванов. В тот день, в большой столовой, нас было только двое. Каждому «царскому гостю» прислуживали два или три придворных лакея. Не помню что подавали есть, но красное французское бордо носило этикетку "mise du château".

***

В редакции «Нового Времени», прием их военного корреспондента в Царском Селе, произвел настоящую сенсацию, — такого случая старожилы газеты не помнили.

Мне выдали весь мой гонорар, по тарифу 30 копеек за строку, что превышало обычный гонорар таких китов, как Меньшиков и Буренин, — подарили тысячу рублей наградных. Помимо того, сам Михаил Суворин решил чествовать меня и профессора А. Пиленку, банкетом в Европейской гостинице.

Вся редакция явилась в полном составе: оба брата Суворины, ответственный редактор Мазаев, его помщник Жухин, муж очень красивой жены, «передовик» Егоров, черпавший вдохновение, когда писал, в бутылке красного вина, и все главные сотрудники.

Совершенно не помню, что мы ели, что пили, какие произносились тосты; в памяти остался только длиннейший стол, заставленный таким количеством и разнообразием закусок, какого я никогда в жизни уже больше не видал.

Позиция моя в «Новом Времени» отныне была уже прочно закреплена, что и показала еще раз новая война на Балканах, в следующем 1913 году. В редакцию я входил уже запросто, в редакторский кабинет Мазаева — без доклада.

В числе сотрудников состоял одно время Куропаткин; оставшись не у дел, он жил в своем имении не то в Псковской, не то в Тверской губернии и наезжал в Петербург. Как то, выходя из редакции, я с ним столкнулся в дверях; он остановился, спросил фамилию; я назвал себя. Будучи глуховат, он переспросил, затем пожал мою руку и любезно произнес:

— Так это вам мы обязаны интересными корреспонденциями с войны? Рад познакомиться.

Естественно, что я был весьма польщен.

В Великую войну Куропаткин некоторое время снова командовал армией на Северном фронте, в районе Риги, но здесь тоже ничем себя не проявил.

ВТОРАЯ БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА

Летом 1913 года на Балканах снова вспыхнула война. Я в это время отбывал ценз командования батальоном в 107 Троицком полку бывшего корпуса Ренненкампфа; — он уже командовал войсками округа. Еду к нему, прошу меня отпустить на два месяца, вопреки всяких правил, и получаю согласие.

В Петербурге, в редакции «Нового Времени» без колебания принимают мое предложение ехать на Балканы и снаряжают в путь на еще более выгодных условиях.

Эта братоубийственная война произошла из-за того, что недавние союзники не поделили турецкого наследства. И на болгар, кроме сербов, накинулись еще греки, румыны и турки.

У болгар отобрали лучшие куски: Адрианополь, богатейшие провинции Македонии, со знаменитыми плантациями табаку в Кавале; румыны снова заняли южную часть Добруджи. Разгром произошел столь быстро, что я попал почти к шапочному разбору. Война заканчивалась, наступило перемирие, начались переговоры о мире, войска остановились на завоеванных позициях.

Главные театры, — сербский и турецкий, я объехал подробно. Высшее командование всячески содействовало моему передвижению, назначая специальных адъютантов, с верховыми лошадьми. А в Турции, под Адрианополем, целая кавалерийская дивизия прошла передо мною, после ночного маневра, церемониальным маршем.

В Греции я беседовал с Венизелосом, в Румынии — с Премьером Таке-Ионеско, в Константинополе — с первым министром Талаатом, морским — Джемалем; завтракал у командующего турецкой армией Хуршид-Паши, с его начальником штаба Энвер-беем — в Адрианополе.

По возвращении в Петербург, был вызван в турецкое посольство, где Турецкий Посол лично вручил мне орден Мед-

жидие, украшенный бриллиантами, к сожалению фальшивыми, неизвестно за какие заслуги.

В результате моей вторичной поездки на Балканы, «Новое Время» бесплатно издало в начале 1914 года мою книгу «Разгром Болгарии», переведенную моим другом Кросом на французский язык.

Вскоре начавшаяся Великая война подорвала всякий интерес к моему литературному произведению.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

В дореволюционной России существовал закон: полковники Генерального Штаба, до получения полка, обязаны были пройти стаж командования батальоном в течение четырех месяцев лагерного сбора, т. е. с мая по конец августа, или начала сентября, когда заканчивались большие маневры.

В 1913 году я прервал, из-за поездки на 2-ю балканскую войну, эту краткую службу в строю; поэтому в начале лета 1914 года пришлось начинать снова. На сей раз меня потянуло на юг, к Черному морю, в Одессу, где стояла 4-я стрелковая бригада, известная под названием «железная».

В боях против австрийцев, бригада эта, развернутая в дивизию, настолько доблестно сражалась, что ее Начальник, Антон Иванович Деникин, получил два Георгиевских креста.

Во главе 15-го Стрелкового полка, где я принял батальон, стоял бравый полковник Сухих флигель-адъютант Его Величества, не очень обременявший себя службой. Главное внимание, как показывает самое название — стрелки, было обращено на занятия стрельбой. Но командир являлся не часто на полковое стрельбище, — обучение велось под наблюдением старшего полковника.

Уже с конца мая того же 1914 года стали серьезно поговаривать о войне, о секретных переговорах Германии с Австрией, а после убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараеве, войну считали неизбежной, и начали исподволь готовиться к мобилизации.

В июне месяце появился приказ Военного Министра генерала Сухомлинова:

«Государь Император изволил заметить, что в Полковых Собраниях офицеры злоупотребляют спиртными напитка-

ми; предписываю командирам частей принять серьезные меры к прекращению этого явления.»

Полковник Сухих собрал офицеров и сконфуженным голосом прочел приказ. Из всех офицеров полка серьезная мера должна была быть применена прежде всего к нему самому *.

В первых числах июля я получил предписание из штаба Варшавского Округа немедленно выехать к месту моей новой службы. Мой бывший Начальник Штаба 14-го Корпуса, генерал Леонтьев, в 1913 году был назначен генерал-квартирмейстером, и устроил мне перевод к себе в Варшаву, на должность старшего адъютанта строевого отделения. С объявлением войны Варшавский Штаб развертывался в Штаб Северо-Западного фронта, с переездом в город Седлец.

10-го июля, по старому стилю, я прибыл в Люблин, откланялся своему прежнему начальству, уложил вещи и к вечеру следующего дня явился в штаб Варшавского Округа к генерал-квартирмейстеру. Леонтьев с места огорошил и в то же время чрезвычайно обрадовал меня:

— Не хотите-ли отправиться в Ченстохов, к генералу Новикову, в 14-ю Кавалерийскую Дивизию? Его начальник штаба Вестфален болен и находится в Петербурге, а кроме капитана Шапошникова у него никого нет.

Я немедленно согласился.

Нормальным порядком мне следовало получить штаб дивизии, да еще пехотной, не раньше как через 3 года; а тут неожиданная перспектива попасть в кавалерию, вместо того, чтобы сидеть на стуле в большом штабе.

**
*

Новиков — я видел его первый раз в начале 1914 года, когда с командиром корпуса мы объезжали подчиненные ему стрелковые бригады и полки кавалерии. Едва я появился в Ченстохове, Новиков чуть не кинулся мне на шею.

— Как я рад, как я рад, — заговорил он, — что мне наконец дали начальника штаба; и представьте, я все думал: вот если бы мне дали полковника Дрейера, — и вдруг являетесь вы.

---

* Как известно, с объявлением войны в России были закрыты все казенные винные лавки и всякая продажа водки запрещена, как в тылу так и на фронте.

Очевидно, и в данном случае, главную рекламу мне сделал полубоевой стаж на трех предыдущих войнах.

Генерал-Майор Александр Васильевич Новиков, числившийся по Генеральному Штабу, до получения 14-ой кавалерийской Дивизии, в течение пяти лет стоял во главе сперва Тверского, а затем Елизаветградского кавалерийского училища, и последние три года командовал бригадой в 5-ой Кавалерийской дивизии.

Чрезвычайно представительный, красивый, высокого роста, он считался отличным наездником, знал, конечно, до тонкости строевую кавалерийскую службу, но, как показала начавшаяся война, не проявил особых талантов смелого кавалерийского начальника. Не лишенный храбрости, но довольно осторожный, он охотно следовал советам своего начальника штаба и в самое короткое время из командующего дивизией сделался ее начальником, получил генерал-лейтенантский, чин, и вслед за тем — кавалерийский корпус, — первый, сформированный во время войны, и Георгиевский крест.

***

Капитан Шапошников, Борис Михайлович, от которого я принял и июле 1914 года штаб и мобилизационный план, во вторую Великую Войну оказался уже в должности Начальника Штаба при генералиссимусе Сталине, в чине маршала.

Этого Шапошникова, в интимной беседе за стаканом вина, — вечерами после боя, — я шутя называл «мальчик Боря». Он сразу произвел на меня превосходное впечатление. Скромного происхождения, туркестанский стрелок, в 1910 году он кончил Академию Генерального Штаба и, откомандовав два года ротой в своем же І-ом Туркестанском стрелковом полку, в ноябре 1910 года был назначен в штаб 14-ой кавалерийской дивизии, на должность старшего адъютанта.

Начальником дивизии в то время состоял генерал-лейтенант Орановский Владимир Алоизиевич, природный кавалерист. Начав службу в лейб-гвардии драгунском полку, он окончил Академию, отлично знал свое дело и блестяще подготовил дивизию к предстоящей войне.

Под руководством такого начальника, пехотинец Шапошников многому научился, хорошо усвоил технику организации кавалерийской разведки и в этой области, оказал мне

в первый месяц войны неоценимую услугу. Часто, глядя на него, на его пробор по средине головы, усы с подусниками, я думал:

— Чорт возьми, как он похож на Скобелева, а вдруг он сделает карьеру «Белого Генерала»?

У Сталина он сбрил усы и бороду, потерял облик Скобелева, но обошел «Белого Генерала» и в чине и в положении.

Будучи полковником Генерального Штаба, когда около 60 процентов офицеров-академиков перешли в Добровольческую Армию, Шапошников остался у большевиков и провел всю гражданскую войну в штабе красного главнокомандующего С. С. Каменева, тоже полковника Генерального Штаба. После гражданской войны он сразу выдвигается на должность I-го помощника начальника генерального штаба. Затем в 1925 году получает в командование Ленинградский военный округ, а через два года — Московский. Достигнув зенита, карьера Шапошникова, по причинам ничего общего не имеющим с военным делом, начинает тускнеть. В 1931 году он получает в командование самый захолустный военный округ — Приволжский, а в 1932 году становится Начальником Военной Академии, т. е. поднявшись на самые высшие посты в красной армии, он с 1931 года неизменно спускается со ступени на ступень иерархической лестницы. Однако, в 1936 году, когда в связи с заговором Тухачевского почти все старые офицеры Генерального Штаба были выведены в расход, Шапошников не только не разделил их участи, но сразу выдвинулся на высший пост начальника штаба вооруженных сил С. С. С. Р., оказавшись непосредственным подчиненным и помощником Сталина.

В чине маршала, он не колеблясь, поставил свою подпись под смертным приговором Тухачевскому.

В самый разгар войны Шапошников заболел раком и вскоре умер. В воздаяние его заслуг сам генералиссимус Сталин, с пятью высшими чинами своего окружения, нес гроб красного маршала Бориса Михайловича Шапошникова к месту его последнего упокоения, у Кремлевской стены.

***

18-го июля, по старому стилю, была объявлена война, и ровно в полночь с 18-го на 19-ое июля, на границе с Германией, 14-я кавалерийская дивизия начала военные действия.

14-ый казачий полк выслал серию разъездов, с приказанием перейти немецкую границу и выяснить находившиеся напротив неприятельские силы. Перейти эту границу, однако казакам не удалось: немцы сами со своей кавалерией, при поддержке пехоты и артиллерии, вторглись в пределы Польши, и к утру уже заняли Ченстохов, где от их артиллерийского обстрела начались пожары.

Однако, дальше Ченстохова, немцы крупными соединениями временно не пошли, и все военные действия пока ограничивались стычками небольших частей. Наши стрелковые бригады успели отмобилизоваться и отойти из своих штаб-квартир в пункты сосредоточения к Висле и за Вислу.

Перед 14-ой кавалерийской дивизией встала новая задача: разбить появившуюся из Австрии 8-ую кавалерийскую гонведную (венгерскую) дивизию, наступавшую из Кракова на Кельцы. Одновременно против немцев была двинута, распоряжением 9-ой армии генерала Лечицкого, 8-ая кавалерийская дивизия генерала Зандера в операционном направлении Радом — Лодзь — Калиш.

В ряде боев наши полки, где особенно отличились Митавские гусары и Ямбургские уланы, сильно потрепали венгерцев и оттеснили их к границе. Но в это время на сцене появился Пилсудский со своими легионерами, сформированными в воинские части из австрийских поляков. О существовании этого Пилсудского, будущего польского маршала и диктатора, глубоко ненавидевшего Россию, где он получил свое образование, было давно известно в разведывательном отделении штаба Варшавского округа.

И пока 14-я кавалерийская дивизия удачно сражалась против регулярной неприятельской конницы, легионеры Пилсудского, — тогда они еще не назывались «пилсудчиками», — заняли город Кельцы.

Покончив с гонведом, Новиков решает атаковать Пилсудского.

Конно-артиллерийский дивизион, под командой подполковника Арцишевского начал обстрел вокзала; Митавский полк, спешив четыре эскадрона повел наступление цепями. Два эскадрона улан, над коими я принял, с разрешения Новикова, командование, двинулись в конном строю атаковать город с юга; приданные нам части пограничников получили задание занять вокзал. Одновременная атака увенчалась полным успехом. Пилсудский был разбит и бежал, оставив раненых и убитых, среди последних — одного полковника.

С нашей стороны наибольшие потери понесли Митавцы, менее чувствительные — Ямбургские уланы, обстрелянные из окон, когда я занял с ними главную площадь города.

За эту стрельбу, не без основания полагая, что она велась со стороны сочувствовавших Пилсудскому поляков, я, сгоряча, предложил моему уважаемому начальнику наложить на город контрибуцию в 100.000 рублей. Новиков, не подумав, согласился: контрибуция была собрана в несколько часов и передана жандармскому ротмистру, для дальнейшего следования.

Когда деньги дошли до Ставки, там произошел настоящий переполох. Великий Князь, сочувствовавший полякам, обещавший им после войны автономию, пришел в ярость.

— Как, на мирное свое же население накладывать контрибуцию! Новиков понятия не имеет о Полевом управлении войск во время войны.

И послал генерала для поручений Петрово-Соловово произвести дознание.

Хорошо, что мы эти сто тысяч с Новиковым не роздали солдатам; наверное угодили бы под суд.

Все, однако, обошлось, ибо успешные действия кавалерии Новикова оценивались высоко и в Ставке: за взятие города Новиков получил Станиславскую ленту, а я — Владимира 4-ой степени с мечами и бантом. Не забыли и будущего маршала Шапошникова.

Через несколько дней последовала от Лечицкого признательная телеграмма, и вот по какому поводу. Австрийский летчик, посланный от австрийского главнокомандующего Данкля к немцам, возвращался с важным донесением и по ошибке снизился в районе 14-ой кавалерийской дивизии. Вблизи находились казаки. Увидя ошибку, австриец бросился бежать, казаки за ним; и один из казаков, вместо того, чтобы взять авиатора живым, зверски всадил ему пику прямо в рот.

Если беднягу летчика из-за болвана казака допросить не удалось, все же у него в сумке нашли сообщение Главной немецкой Квартиры о том, что на помощь австрийцам направлен целый 6-ой корпус генерала Войрша из Бреславля, через Лодзь, Радом, к Висле.

В силу создавшегося положения, штаб армии решил тотчас же сформировать из двух дивизий конный корпус, под командой старшего из двух начальников, генерал-лейтенанта Зандера.

Получаем записку:

— Командующий Корпусом, генерал-лейтенант Зандер, приказал прибыть завтра в 8 часов утра в деревню X генералу Новикову с его начальником штаба, для получения директивы.

Являемся трое: Новиков, я, Шапошников, оставив в штабе прикомандированного поручика Роженко *.

С большим опозданием приезжает Зандер, с ним его начальник штаба Одноглазков.

Важный, серьезный, Зандер подает руку Новикову и мне, игнорирует капитана Шапошникова, и читает лекцию как должно действовать кавалерии, и что он ожидает от 14-ой кавалерийской дивизии.

Мы слушаем и не понимаем, к чему ведет вся эта болтовня. Никакой точной директивы не получаем; узнаем лишь, что 8-ая кавалерийская дивизия будет «действовать» правее, а мы должны наступать левее, южнее Радома — на Лодзь.

Результат «директивы» Зандера оказался весьма плачевным, особенно для его личной карьеры.

Не искушенная еще в боях 8-ая кавалерийская дивизия наткнулась сразу на превосходные кавалерийские и пехотные части корпуса Войрша и понесла довольно чувствительные потери. Это так повлияло на генерала Зандера, что он, оставив в покое немцев, форсированным маршем отошел под защиту фортов Ивангородской крепости, бросив управление корпусом.

Задерживать Войрша пришлось дивизии Новикова, что она с успехом и делала, атакуя фланг колонны 6-го немецкого корпуса и его обозы.

В результате этих действий сам Войрш едва спасся, бросив свой автомобиль, великолепный Мерседес, который на-

---

* Отличный, способный офицер, артиллерист, только что окончивший два курса Академии, этот Роженко энергично работал в Ставке по организации Союза офицеров, когда генерал Корнилов стал Верховным Главнокомандующим. Позднее, в Гражданскую войну, командированный для связи с частями адмирала Колчака, он был перехвачен к северу от Каспийского моря большевками и они поступили с ним с чисто азиатской жестокостью: зверски избитого, с перебитыми костями, бросили в яму.

ши казаки, как трофей, доставили в штаб 14-ой кавалерийской дивизии, вместе с немцем — шоффером. Немца перекрестили в Жоржа, одели в казачью форму, и мы с Новиковым передвигались впредь только на этом Мерседесе.

КАВАЛЕРИЯ НА ОТДЫХЕ

Нельзя не вспомнить без чувства удовлетворения о тех далеких днях начала войны, когда, после удачных боев, полки отходили на отдых, а мы — Новиков и штаб — располагались в каком-либо фольварке, или помещичьей усадьбе.

Наступала ночь, бой затихал, неприятель почти не оказывал сопротивления, Новиков смотрел на часы:

— Не пора-ли кончать?

— Александр Васильевич, возьми Шапошникова (мы скоро уже перешли на ты) и поезжай на фольварк, квартирьеры уже там.

Новиков охотно соглашается, но произносит:

— Не затягивай только боя, кавалерия не должна ночью соприкасаться с противником, ее полагается отводить за пехоту.

— Но у нас же нет пехоты, да и тактика эта, по моему, здорово устарела.

И вот Новиков рысит к месту отдыха. Часа через два полки собраны, отходят на ночлег; и я являюсь с поручиком Роженко.

«Чертог сияет», суетятся денщики; в столовой брошенного барского дома, на белоснежной скатерти расставлены приборы, бутылки старки, сливовицы, французские вина; собираются офицера расквартированного по близости полка. Часто появлялись, особенно в начале, и сами хозяева: пан помещик со своей пани и паненками-дочерьми, за которыми молодежь тотчас пускалась ухаживать. Но большею частью имения пустовали, владельцы эвакуировались.

Если на следующий день предполагался отдых, а случалось это не часто, то дружеская беседа затягивалась надолго, гремели трубачи, тосты следовали один за другим, тянули хором, или кто во что горазд.

Штабс-ротмистр Пышнев, храбрый митавский гусар (от тяжелой раны он вскоре скончался), наливает в вазу для фруктов шампанское, подносит Новикову.

— Слушайте, — говорю ему, — вы с ума сошли, как же можно из этой вазы пить с такими краями?

— Ничего, кавалерист выпьет.

И начинается хором припев:

— Мы просим младшего корнета поднести стакан вина, хороша традицья эта, Саша выпей все до дна.

И «Саша» Новиков, действительно, обливаясь шампанским, тянет до последней капли, под выкрики:

— Пей до дна, пей до дна...

По очереди подносят всем по старшинству и меняют иногда припев:

— Как цветок душистый аромат разносит,
так бокал налитый тост заздравный просит;
Выпьем за Володю, Володю дорогого,
а пока не выпьет, не нальем другого. —

Доходит очередь до будущего красного маршала. Громадный стакан до краев наливают вином, ставят на тарелку, и как бы в насмешку поют:

— Чарочка моя, серебряная, на золотом блюдце поставленная; и затем: «Мальчик Боря, выпей море» * и повторяют, пока бедный Шапошников не дотянет до конца.

Однажды произошел форменный скандал. Польский помещик принимал нас в своем чудесном имении и чествовал ужином. В это время в районе поместья поймали бродившего здоровенного детину, который что-то выспрашивал и записывал. Привели его к ротмистру Соколовскому адъютанту по хозяйственной части, обыскали и нашли целый ряд записок о численности и передвижениях наших полков. Допросили, и он сознался, что будучи дезертиром лейб-гвардии Семеновского полка, нанялся к немцам в качестве шпиона. Тотчас-же, пока мы ужинали, Соколовский собрал военно-полевой суд, приговоривший его к повешению.

— Помилуйте ради Бога, — взмолился шпион, — буду

* На мотив песенки известного Хенкина: «Мадам Каплан уберите Борю, бедный мальчик в гостиной сделал море.»

служить впредь верой и правдой Его Императорскому Величеству.

Соколовский все же его повесил в саду помещичьего дома.

И вот утром, покидая имение, слышим истерические крики и плач, — оказывается труп висел как раз против окна спальни хозяйки дома.

Естественно, что провожать нас с Новиковым, никто не вышел.

КОННЫЙ КОРПУС НОВИКОВА

За свой отход к Ивангороду начальник 8-ой кавалерийской дивизии, генерал Зандер, был немедленно смещен. Полученная из Штаба армии телеграмма гласила:

«Командующему 14-ой кавалерийской дивизии немедленно вступить в командование конным корпусом; генерал-лейтенанту Зандеру поступить в подчинение генерал-майора Новикова; помимо 8-ой кавалерийской дивизии генералу Новикову придается 5-ая кавалерийская дивизия, генерал-лейтенанта Морица.»

Нельзя с уверенностью сказать, что генерал Зандер не был достаточно храбр, но его начальник штаба полковник Одноглазков обнаружил совершенно непонятную, болезненную боязнь и, вероятно, влиял всем своим поведением на своего начальника. Рассказывали, что, едва только появлялся в небе немецкий авион, Одноглазков тотчас же слезал с лошади и на глазах всех бросался в придорожную канаву.

В результате пришлось его сменить. Приказ Новикова должен был передать ему лично я, пережив довольно тяжелые минуты. Будучи старше меня на три года по выпуску из Академии и на пять лет по возрасту, полковник Одноглазков, усышав о смещении взмолился со слезами на глазах:

— Господин полковник, прошу вас пощадите меня, я право ни в чем не виноват.

Приказ вошел все же в силу и на место Одноглазкова Зандеру был дан капитан Генерального Штаба Шатилов, присланный в это время в корпус для исправления обязанностей штаб-офицера для поручений.

Получив кавалерийский корпус из трех дивизий, Нови-

ков, конечно, не мог одновременно оставаться во главе своей 14-ой, и в командование ею вступил генерал-лейтенант Эрдели, Иван Егорович, состоявший перед этим генерал-квартирмейстером 9-ой армии Лечицкого *.

В середине августа прибыл из Петербурга выздоровевший полковник Вестфален и явился к Новикову. Вполне естественно, что будучи старше меня на два года в чине и на десять лет по возрасту, Вестфален должен был сменить меня, а я — занять свою основную должность в штабе 14-ой кавалерийской дивизии. Новиков, с которым мы дружно спелись и так удачно воевали, не знал, что ему делать; он ни за что не хотел расставаться со мной. Вестфален это понял и очень тактично заявил, что он предпочитает принять свой штаб дивизии, с капитаном Шапошниковым.

На том и порешили; я остался у Новикова исполняющим должность начальника штаба корпуса, с правами начальника дивизии, что предусматривалось законом.

В начале 1915-го года Вестфален получил в командование 14-й Гусарский Митавский полк. Не помню когда и где на полк этот выпала ответственная задача атаковать немецкую пехоту, угрожавшую обходом. Вестфален, не колеблясь, развернул весь свой полк в боевой порядок для конной атаки, и во главе эскадронов повел наступление. Митавцы понесли колоссальные потери, наткнулись на проволочные заграждения, сам Вестфален со многими офицерами был убит. Но эта безумная атака все же задержала на некоторое время продвижение немцев.

Шапошникова в штабе корпуса сменил прибывший из оперативного отделения 9-ой армии, вместе с генералом Эрдели, причисленный к Генеральному Штабу и вскоре туда переведенный, артиллерист, очень способный, штабс-капитан Мельчаков, первым окончивший Академию в 1914 году. Мы дружно с ним работали до моего отъезда на другую должность.

---

* На войне генерал Эрдели дослужился до Командующего армией; вместе с Деникиным был арестован в Быхове; после Корниловского восстания бежал оттуда на Кавказ, где провел всю гражданскую войну; а в Эмиграции до самой смерти ездил шофером такси в Париже.

САНДОМИР

Одним из самых значительных подвигов кавалерии Новикова за всю войну, несомненно, было взятие укрепленной позиции австрийцев с крепостью Сандомиром, на реке Висле.

Дабы войти в прямую связь с армиями Юго-Западного фронта, разбившими австрийцев и вторгнувшимися в Галицию, конный корпус должен был перейти Сан, защищенный крепостью Сандомиром, с его крепостной артиллерией и гарнизоном, силой в несколько полков ландштурма.

Лечицкий, командующий 9-ой армией, отдал приказ: «Коннице Новикова взять Сандомир, перейти реку Сан и вступить в пределы Австрии, для совместных действий на новом театре войны.»

Помимо трех кавалерийских дивизий Новикову были приданы для указанной операции: 18-ая артиллерийская бригада в полном составе и 72-ой пехотный Тульский полк.

Я предложил план атаки: вся артиллерия, — 6 батарей трех конно-артиллерийских дивизионов и 8 — 8-ой артиллерийской бригады, с вечера начнут бомбардировку Сандомира; Тульский полк, ночью, внезапной атакой, войдет в Сандомир с востока; спешенные эскадроны трех кавалерийский дивизий — 12 полков — атакуют с юга, прямо в лоб.

И вот, накануне этой памятной операции, помню, мы сидели на траве верстах в шести от Сандомира: Новиков, я, Роженко, Командир Малороссийского драгунского полка полковник Сенча, и обсуждали план атаки.

Новиков колеблется, Сенча его поддерживает:

— Атака конницей укрепленной позиции, да еще крепости, совершенная нелепость; мы понесем только напрасные потери, — говорит Новиков; Сенча поддакивает. Я настаиваю:

— Мы получили определенное приказание, сами просили поддержки пехотой и артиллерией, нам дали и пехоту и восемь батарей.

Спор долго продолжается и Новиков заявляет:

— Нет, я не могу пустить конницу на убой и диспозиции не подпишу.

— Хорошо, — отвечаю я. — В таком случае по предоставленному мне праву, я немедленно об этом сообщу начальнику Штаба Армии и выскажу свое мнение.

Этого было достаточно, чтобы мой командир корпуса сдался.

Атака состоялась; Сандомир был взят со всеми своими пушками; австрийцы бежали, не успев как следует спалить деревянный мост. Пострадали в ночной атаке, главным образом, тульцы: у них был убит командир полка, несколько офицеров и 800 солдат, но они и решили, главным образом, участь боя.

Кавалерия понесла ничтожные потери.

Новиков не верил своим глазами, когда утром мы вступили в город, а саперы тушили и исправляли мост.

К вечеру весь конный корпус перешел на правый берег Вислы.

Получив в награду через несколько дней генерал-лейтенантский чин, утверждение в должности, и Георгия 4-ой степени, Александр Васильевич Новиков отвел меня в сторону, расцеловал и, со слезами на глазах, растроганным голосом произнес:

— Этот Георгиевский крест следовало бы дать тебе.

Но и меня не забыли, пожаловав Владимиром 3-ей степени с мечами, на шею.

Должен прибавить, что у Новикова хватило достаточно благородства аттестовать работу своего штаба даже перед высшим начальством. Когда однажды Командующий армией высказал Новикову благодарность за действия корпуса, то он, не долго думая, ответил, показывая на меня и на Мельчакова:

— Этим, Ваше Высокопревосходительство, я очень обязан моему штабу.

***

В сентябре 1914 года, когда на французском фронте операции приняли затяжной позиционный характер, немцы сочли возможным более существенно поддержать разбитых австрийцев, двинув целую армию на Варшавский театр.

Кавалерия Новикова тотчас же была переброшена через Варшаву в этот район, усиленная еще двумя казачьими ди-

визиями, 3-ей и 5-ой Донской, и бригадой уральских казаков под начальством Кауфмана Туркестанского, сына завоевателя Туркестана. Двадцать тысяч коней, под управлением одного начальника, такое соединение длилось не долго, и затем уже ни разу не повторялось в течение всей первой мировой войны.

Явилось немало охотников и кандидатов занять место начальника штаба в I-ом Кавалерийском Корпусе. Несмотря на все мои заслуги и полученные награды, я, в сущности, не мог рассчитывать на утверждение в генеральской должности, не пройдя ценза командования полком. В пришедшей через два года революции с этим не считались, законы были не писаны, и на высокие посты попадали, вместе с очень способными офицерами, молодые мальчишки, недавно выпущенные из Академии.

В октябре немцы произвели на Варшавском театре довольно смелый маневр. Оттянув свои войска к границе, после удачных для нашего командования боев впереди Варшавы, они сосредоточили значительные силы в районе Торна и сильную конницу к западу от Калиша.

Маневр германцев ускользнул от разведывательных органов Ставки и штаба Западного фронта. А в армии генерала Шейдемана, перешедшего в Лодзь, попросту считалось, что немцы разбиты и спешо отступают.

Конный корпус Новикова, войдя в состав этой армии, был сосредоточен на фронте около 20-ти верст по реке Варте, находясь в армейском резерве.

Однако дальняя разведка, организованная моим штабом, продолжалась и определенно доносила о сосредоточении крупных сил в районе Вислы, к югу от Торна.

20-го октября из штаба 2-ой армии была получена телеграмма:

«Начальнику штаба I-го кавалерийского корпуса немедленно прибыть, для получения приказа.»

Приезжаю на немецком Мерседесе — трофее 14-ой кавалерийской дивизии — в Лодзь; узнаю, что штаб командующего расположился в лучшей гостиннице города. Меня вводят в кабинет начальника штаба.

И кого же я вижу? — Моего милейшего Владимира Александровича Чагина, уже в роли начальника Штаба Армии. Он дружески жмет мне руки и тотчас же хвастает, показывая как он живет:

— Посмотрите, какой у меня кабинет и какие аппартаменты.

Затем усаживает, угощает сигарой, потом ведет в свою спальную комнату, затем в ванную со всеми удобствами.

— Видали что нибудь подобное? Это, вам не моя жалкая комната на Лукишках в Вильне, у Ренненкампфа.

Выражаю неподдельное восхищение и наконец спрашиваю:

— А как же немцы?

— Немцы? Здорово им попало, бегут. Пойдем к командующему, он вам даст сейчас директиву, она уже заготовлена для Новикова.

Шейдеман, все тот же бодрый, представительный генерал, каким я его помнил по его прежней службе в должности начальника 3-ей кавалерийской дивизии в Ковне, армию получил на третьем месяце войны. Встретил он меня тоже как старого знакомого, и, вероятно, очень бы сконфузился, если бы я ему напомнил ужин у гусар, когда он уверял своего корпусного командира, что он не «мыловар».

И вот получаю знаменательную директиву:

«Противник разбит и быстро отступает; коннице генерала Новикова начать энергичное преследование в операционном направлении на Калиш, который и взять. **Вас ждет там богатая добыча.**»

На этой «богатой добыче» бедный Шейдеман вскоре и закончил свою карьеру командующего армией: был смещен, кажется, вместе с ним и Чагин.

Возле Калиша наши дивизии, — 14-ая и 8-ая, — наткнулись не только на сильную пехоту, но главным образом на крупную кавалерийскую группу генерала Бредова.

Ни о какой атаке Калиша не могло быть и речи. Немцы двумя конными дивизиями вышли во фланг и тыл 8-ой дивизии генерала Зандера.

Подобно тому, как было под Радомом, Зандер предпочел не вступать в серьезный бой, потерял связь со штабом корпуса, с соседней дивизией, и ушел на два перехода назад, за реку Варту.

Это была первая неудача, выпавшая на долю кавалерии Новикова с начала войны, и как бы первое предупреждение для его последующей карьеры; а для моего отчисления, — прекрасный предлог.

И вот к Новикову стали поступать от генерал-квартирмейстера штаба фронта Бонч-Бруевича, запросы — кого бы

он предпочел, из прилагаемого списка генералов к себе в начальники штаба. На все предложения мои Александр Васильевич неизменно отвечал:

— Никого, прошу оставить полковника Дрейера.

Так продолжалось до конца октября того же 1914-го года.

Бонч — брат ленинского секретаря Бонч-Бруевича * выходил из себя, ища подходящего случая, чтобы всадить Новикову своего протеже, генерала Залесского. Этого Петра Залесского, известного по мирному времени изобретенным им полевым вьюком, с походной кроватью, Новиков меньше всего хотел иметь своим начальником штаба, зная его, как человека грубого и очень неуживчивого.

31-го октября того же года Новиков получает телеграмму:

«Прошу командировать полковника Дрейера, для доклада в штаб Западного фронта. Бонч-Бруевич».

Командир корпуса желает мне счастливого пути, совершенно не подозревая, что я к нему больше не вернусь, и наша совместная служба навсегда закончена.

Тот же немецкий Мерседес, с шофером Жоржем, к 4-м часам дня доставляет меня в Седлец. Старший адъютант отчетного отделения Лукирский вводит в кабинет генерал-квартирмейстера. Бонч с места накидывается:

— Вы понятия не имеете о том, как ведется кавалерийская резведка; корпус Новикова не имел права отступать без серьезного боя. Вы не знали, что у вас на флангах, разведка ваша ниже всякой критики.

Сразу становится понятным по тону и манере обращения, что Бонч собирается меня съесть, сделав козлом отпущения.

---

* В своей книге «Воспоминания» нобелевский лауреат, писатель Бунин, говоря о князе Кропоткине, приехавшем в 1918 году в Россию, пишет: он почему то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле с ним свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем.

Еще большим негодяем был генерал Бонч-Бруевич, как это видно в его книге «Вся власть советам.»

— Нет, — отвечаю, — с самого начала войны я не слышал ни одного упрека в неумении организовать разведывательную службу. Приказ наступать на Калиш был дан непосредственно командующим армией, полагавшим, что немцы разбиты, чего на самом деле не было. И нам точно было известно о сосредоточении крупных сил противника возле Торна, о чем мы доносили в штаб армии.

— Что вы там расказываете...

— Ничего я не рассказываю, а докладываю, что виной отхода корпуса была не разведка, а уход почти без боя дивизии Зандера за Варту. Под Радомом было тоже самое.

Бонч окончательно выходит из себя:

— Прошу вас поменьше рассуждать; вы не умеете говорить с генерал-квартирмейстером, я вас за это отчислю от генерального штаба.

Не удерживаюсь и резко отвечаю:

— Оснований у Вашего Превосходительства для этого нет, да вы и не в праве меня отчислять.

— Полковник Лукирский, дайте предписание полковнику Дрейеру немедлено отправиться в Восточную Пруссию, к генералу Джонсону, для вступления в должность начальника штаба 27-ой пехотной дивизии.

Обоюдный сухой поклон, и я вышел.

Получая в кабинете Лукирского предписание, спрашиваю:

— Что этот сукин сын у вас всегда такой?

— Частенько. Он привык, состоя три года «классной дамой» в Академии, где слушатели не смели пикнуть своим курсовым офицерам; так это и сказывается. Напрасно только вы довольно резко с ним говорили, он вам этого не простит.

Покончив со мной, Бонч-Бруевич, тотчас же, уже не спрашивая Новикова, назначил к нему генерала Залесского, дав тому инструкцию «изничтожить» меня в конец, выискав недочеты в моей три с половиной месячной штабной службе.

Благодарный за назначение, Залесский задачу выполнил успешно, и обоюдными усилиями двух приятелей в конце марта 1915-го года, я уже числился по армейской пехоте.

Но об этом — дальше.

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ

С предписанием генерал-квартирмейстера Западного фронта в кармане, я вечером того же дня, на том же немецком Мерседесе, выехал к месту новой службы, не зная точно, где я найду свою 27-ую пехотную дивизию. Было только известно, что штаб 3-го корпуса стоял в Сталупенене, вблизи нашей пограничной станции Вержболово.

Ехали, не останавливаясь целую ночь, через русскую Млаву, затем через прусские города Гольдап и Лык, разграбленные и сожженные нашими казаками. Где то по дороге, в темноте, шофер Жорж не заметил закрытого шлагбаума, налетел на него, разбил свои и без того скудно освещавшие фары, промчался дальше без особой аварии, и к вечеру доставил меня на станцию Вержболово, против немецкого Эйдкунена.

Как ни странно, но эти два пограничные местечка сыграли довольно роковую роль в судьбе двух лиц: генерала Ренненкампфа и жандармского полковника Мясоедова.

При наступлении в Восточную Пруссию таможня Вержболово, где находились колоссальные партии всевозможных товаров, экспортных со стороны России и импортных из Европы, таможня эта была буквально разграблена. Начальник штаба армии, генерал Милеант, находившийся в самых неприязненных отношениях со своим командующим, — Ренненкампф его просто игнорировал и все свои приказания отдавал через генерал-квартирмейстера Баиова, — Милеант послал донос в Ставку, что грабеж был произведен чуть ли не с разрешения Ренненкампфа, и яко бы он сам поживился богатыми мехами, хранившимися на складе.

До разгрома армии Самсонова, Ренненкампфа, разбившего немцев и вступившего в Восточную Пруссию, не трогали. Но когда, вследствие победы Гинденбурга под Сольдау (Танненбергом), I-ая армия вынуждена была отойти и частями докатилась до Ковны, то неудачу всей операции Ставка приписала штабу фронта, а затем самому Ренненкампфу. И одновременно вспомнили о вержболовских мехах.

Ненавидевший Ренненкампфа Военный Министр Сухомлинов повел против него серьезную интригу в окружении Государя и, в конце-концов, после Лодзинской операции, настоял на его отчислении.

Как известно, сражение под Лодзью должно было привести к полному окружению немцев, зарвавшихся на Варшавском театре. Уверенность в победе была такова, что по приказанию Великого Князя Николая Николаевича целые поезда уже направились в этот район для эвакуации пленных. Но все кончилось ничем, окружение не удалось, — немцы умудрились прорваться, и поезда ушли обратно пустые.

Одним из главных виновников Верховный Главнокомандующий признал Ренненкампфа, во-время не подоспевшего со своей группой войск к полю сражения.

В марте 1915-го года, в Петербурге, уже отчисленный в резерв, Ренненкампф мне горько жаловался, доказывая, что было абсолютно невозможно в указанный срок сосредоточить всю его армию, так как приходилось переправляться через Вислу по единственному понтонному мосту, и пехоту пустить на лодках. Постоянного моста в его распоряжении не было.

Отчисленный в резерв чинов, он одновременно лишился генерал-адъютантского звания. Ставка, по обыкновению, себя виновной не признала.

* * *

В течение нескольких лет начальником жандармского управления в Вержболове состоял полковник Мясоедов. Тот самый Мясоедов, которого за разгром наших армий в 1915 году судили, как шпиона, в Могилеве, где находилась Главная Квартира, и повесили.

Многие высокопоставленные лица, придворные чины, великосветские дамы, переезжая через границу при возвращении из Европы, прибегали к протекции Мясоедова, особенно, когда вержболовские таможенные чиновники сугубо интересовались, что путешественники везут и стараются скрыть.

Часто его услугами пользовалась и жена Сухомлинова, ездившая одна, иногда с мужем, за-границу через Вержболово. Возможно, что были и другие причины, более существенные, близкой дружбы у Сухомлинова с Мясоедовым, несмо-

тря на разницу их служебного положения. Однако, во время следствия и судебного процесса, Сухомлинов воздержался от всякого вмешательства в пользу своего приятеля. Впоследствии, при Временном Правительстве, он сам был предан суду по обвинению в измене.

Трудно сказать, был ли действительно шпионом Мясоедов, но что с немцами он состоял в весьма дружеских отношениях — это несомненно.

В конце 1910 года мне пришлось побывать в Вержболове для ведения тактических занятий с офицерами пограничной стражи. Вечерами, будучи свободными, мы пешком ходили в Эйдкунен, где ели сосиски, пили немецкое пиво, играли в карты и даже... приударяли за кельнершами; они получше нас тянули вперемежку и пиво и шнапс.

В один из таких визитов мы, несколько офицеров, были чрезвычайно поражены, увидя необыкновенный наплыв публики к одному из лучших ресторанов Эйдкунена, и узнали, что там состоится грандиозный банкет в честь Мясоедова.

Кроме местных немецких властей, съехались из Берлина какие то важные господа, штатские и военные.

Из любопытства, мы отправились туда же, чтобы поужинать, и слышали, как произносились речи, следовали тосты, кричали «хох» русскому полковнику и гремела музыка.

В ту минуту все это не казалось подозрительным: офицеры пограничной стражи сплошь да рядом встречались и кутили с немцами, особенно с уланами, стоявшими гарнизоном в Сталупенене; а те, в свою очередь, приезжали в Вержболово.

Военным следователем по делу Мясоедова был некий Орлов; я с ним часто встречался в Берлине, в эмиграции, в 1921-23 годах, и он признавался, что следствие вел не без пристрастия, «под давлением», и что абсолютной уверенности в измене Мясоедова у него не было.

***

Поздно ночью I-го ноября 1914 года я прибыл в штаб 3-го корпуса генерала Епанчина в Сталупенен, в Восточную Пруссию. Епанчин в течение семи лет состоял директором Пажеского Корпуса, и в январе 1913 года принял 3-ий армейский корпус от Ренненкампфа.

Встретил меня чрезвычайно любезно и с видимым удовлетворением.

— Я очень рад, что у Джонсона, наконец, будет начальник штаба. Вы знаете, что я отчислил начальника дивизии генерала Адариди и его начальника штаба Радус-Зенковича; оба позорно бежали, во время отступления корпуса в недавних боях, прямо в Ковно. Мы снова перешли границу, занимаем теперь позицию, с 20-ым корпусом, вдоль Мазурских озер. Думаю, что вскоре выбьем оттуда немцев и снова начнем наступление на Кенигсберг; вместо Адариди теперь генерал Джонсон.

Последующие события, к сожалению, не оправдали оптимизма Епанчина. Ровно через 3 месяца наша 10-ая армия была окончательно вытеснена из Восточной Пруссии, и немцы до конца войны находились на русской территории.

Переночевав в Сталупенене, полуразрушенном и сожженном, утром 2-го ноября я выехал к месту своей новой службы, в 27-ую пехотную дивизию.

Грустную картину представляла из себя часть Восточной Пруссии, занятая нашими войсками. Это была настоящая пустыня, где почти не осталось никого, кроме нескольких стариков, брошенных на произвол судьбы. Превосходные шоссейные дороги прорезали во всех направлениях этот унылый, безнадежно однообразный ландшафт, и по одной из них, поливаемой мелким холодным дождем, я к полудню прибыл к месту службы.

Во всей деревне остался один не совсем разрушенный дом, где и размещался штаб дивизии, — сам Джонсон и два офицера: генерального штаба капитан Шафалович и старший адъютант по хозяйственной части поручик Х. (фамилии не помню).

В какую дыру я попал, было первое впечатление. И до конца, за все три месяца пребывания в Пруссии, меня не покидала мысль, что на этой раззоренной земле ничего хорошего не произойдет.

Джонсон, еще недавно командовавший бригадой в 25-ой пехотной дивизии у Булгакова, получившего 20-ый корпус, относился как то безразлично ко всему, что происходило вокруг, и в частности на фронте его дивизии.

Четыре полка 27-ой дивизии были раскинуты на пространстве около 10 километров перед рекой Ангерап, впадающий в Мазурские озера, солидно укрепленные противником. Почти три месяца войска стояли неподвижно за

своими слабыми проволочными заграждениями и вели перестрелку с немцами.

Один только раз приказано было в декабре месяце, произвести частичное наступление на фронте дивизии и прорвать позицию противника. Ничего из этого однако не вышло; потери оказались огромными; в одном 105 Оренбургском полку было свыше 800 человек убитых и раненых, среди них несколько офицеров, с командиром полка во главе.

Этого следовало и ожидать: проволоку в те времена пехота должна была уничтожать самостоятельно, ручными ножницами, а не с помощью артиллерии, как было на французском фронте, и танками, как практиковалось позже.

Чем больше я присматривался к Джонсону, тем решительнее отказывался видеть его в ответственной роли крупного начальника.

За все три месяца, что мы стояли на позиции, он ни разу не посетил солдат в окопах, ни разу не выезжал в штаб полков. Все ограничивалось разговорами по телефону, или командиры полков и артиллерийской бригады приглашались явиться к начальнику дивизии.

Из всех командиров наиболее способными оказались: 108-го Саратовского полка Белолипецкий и полковник Отрыганьев, 106-го Уфимского. Артиллерийские офицеры, с их командиром бригады генералом Филимоновым, все были как на подбор.

На позицию, то в полки, то в артиллерию, я ездил часто, и не столько по обязанности, сколько из-за малой склонности к сидячей штабной работе; никогда я ее не любил и всячески избегал крупных штабов за всю свою службу.

Обходя однажды позицию одного из полков, зашел под вечер в землянку ротного командира, скудно освещенную сальной свечкой. Ротой временно командовал молоденький безусый прапорщик, — его командир был ранен и эвакуирован. Убогая обстановка: походная кровать, самодельная скамейка и небольшой столик, на котором в рамке — карточка миловидной девушки. На вопрос, как он себя чувствует, и уверен ли, что крепко стоит со своей ротой на позиции, получил ответ:

— Что в своих солдатах он не уверен, так как впереди почти нет совсем проволочных заграждений, рота очень растянута, резерв батальонный далеко, немцы каждую ночь его сильно обстреливают, а у него нет даже ни одного пулемета.

И под конец добавляет:

— Чувствую, господин полковник, что я буду скоро убит. И вот перед смертью решил проститься с моей невестой, — это ее карточка, — написал ей даже письмо.

Предчувствие бедного юноши, к сожалению, сбылось. В ту же ночь, немцы повели частичную атаку на узком фронте, перебили половину роты, вторую захватили в плен, а прапорщика закололи штыками в его землянке.

Не скажу, что Джонсон был лично для меня неприятный или тяжелый начальник, как например Епанчин, для своего начальника штаба Эггерта, доведший его придирками до неврастении.

Не помню сколько раз, одна и та же плоская острота повторялась за завтраком, или обедом, в нашей столовой. Один из денщиков обносит блюдом; генерал Джонсон спрашивает солдата:

— Что это у тебя там?

— Каклеты с гарниром, Ваше Превосходительство.

— С гавниром, говоришь?

— Так точно, с гарниром.

— С гавниром? — снова острит Джонсон.

— Никак нет, каклеты с гарниром, Ваше Превосходительство, — конфузится солдат.

Присутствующим делается противно, и они молча опускают глаза в тарелки. А Джонсон, довольный собой, смеется и накладывает себе и котлеты и «гавнир».

За свою грубость, командуя в 1907 году 20-ым стрелковым полком, Джонсон поплатился, сказав какую-то резкость своему офицеру и получил в ответ площадную брань. Офицера, кажется судили, а Джонсону дали другой полк — 20-ый пехотный Галицкий.

В декабре 1914 года наступили холода, частые снежные бури, и пришлось искать более удобное и отапливаемое помещение. Послали разведчиков по соседним деревням, и в одной из них, в Даркемене, нашли мало пострадавшую школу и два-три дома. В середине декабря наши солдаты их отремонтировали, с помощью сапер.

В тот же период войны, едва лишь я прибыл в Восточную Пруссию, генерал Залесский начал меня бомбардировать телеграммами, — «верните немедленно три автомобиля и восемь лошадей взятых вами в Восточную Пруссию».

Отвечаю тоже телеграммой: — «автомобиль один, его и возвращаю, лошадей две, и их оставляю.»

Снова телеграмма: — «Вы взяли три автомобиля, реквизировали восемь лошадей, предлагаю немедленно вернуть, иначе донесу по начальству.»

Отвечаю:

«Повторяю, что никаких трех автомобилей у меня нет, а тот немецкий, на котором приехал, возвращаю; лошадей реквизировали командир корпуса и чины штаба; для себя взял только две и за них уплочено было корпусному интенданту по казенной расценке, их оставляю. Справьтесь у интенданта. Прошу меня больше не беспокоить, можете доносить кому угодно.»

Залесский прислал еще несколько таких же телеграмм, оставленных без ответа.

Но донос его пошел к Бонч-Бруевичу и тот только ждал случая, чтобы испортить мне военную карьеру.

***

Перейдя всем штабом с начальником дивизии во главе в новое помещение, в местечко Даркемен, радуясь, что обрели некоторый комфорт, мы и не подозревали, что засиживаться здесь долго не придется. И перебравшись на новые квартиры, решили даже отпраздновать это событие балом, с дамами.

Всего труднее было найти этих дам. Но вспомнив, что у командира 108-го Саратовского полка загостилась его жена, пригласили ее и поручили привезти сестер милосердия из дивизионного лазарета, или ближайшего Красного Креста.

Самого Белолипецкого, командира Саратовского полка, я хорошо знал еще по Вильне, когда, в чине подполковника, он — старый холостяк — вдруг увлекся чужой женой, развел ее и женился.

Мадам Белолипецкая, веселая, жизнерадостная дама, отлично справилась со своей задачей и привезла на бал двух или трех сестер, в форменных платьях, с красными крестами на груди.

Бал удался на славу. Играл полковой оркестр, был сервирован холодный ужин; кроме водки, сделанной из спирта, оказалось и шампанское, специально привезенное из Вильны. Танцы сменялись один за другим, дамам буквально не

давали ни минуты отдыха. Больше всех резвилась командирша Белолипецкая, за которой очень серьезно приударил наш Джонсон.

И вот в мазурке, подобно тому, как танцовал Фокин с Марьей Мариусовной Петипа, в Мариинском Императорском театре, он стал на одно колено, а она мотыльком полетела вокруг 60-тилетнего ловеласа. Затем Джонсон нагнулся и совершенно неожиданно снял с Белолипецкой ее туфлю, схватил с буфета бутылку шампанского, налил в эту туфлю и с наслаждением выпил. Затем снова пустился в пляс.

Все было так необычайно и интересно, что даже музыканты на минуту остановились играть.

Под утро, когда довольные приемом дамы собирались уезжать, Джонсон, провожая, позвал штабного адъютанта и приказал положить Мадам Белолипецкой в сани полдюжины шампанского. Тот немедленно приказание исполнил. Но когда, два дня спустя, при получении жалованья, этот же адъютант удержал с него что-то около сорока рублей за подарок его даме сердца, Джонсон пришел в ярость и ни за что не хотел платить.

ОТХОД ИЗ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

В то время пока мы веселились, не подозревая какая страшная драма поджидает не только нас, но и всю 10-ую русскую армию, немцы в средине января сняли с французского фронта три сильных корпуса, перебросили их в полной тайне к Кенигсбергу, и оттуда двинули два против правого фланга десятой армии вдоль Немана, одновременно перейдя в наступление на всем фронте. Фланг этот охранялся лишь частями кавалерии, занимавшей громадный лес к югу от Юрбурга, имения князя Васильчикова.

И вот неожиданно, как гром с ясного неба, 28-го января (по старому стилю) получается телеграмма из штаба 20-го корпуса, куда по новой диспозиции перешла наша 27-ая дивизия:

«Сняться с занимаемой позиции и немедленно начать с боями отход на Сувалки.»

К полуночи полки дивизии подошли к сборным пунктам и двумя колоннами двинулись к русской границе. Бушевал ледяной ветер со снегом, не было видно ни зги на два шага впереди. Связь с правой колонной бригады генерала Беймельбурга скоро была потеряна, ему приходилось все время отстреливаться от наседавших немцев, и только через двое суток он присоединился к дивизии.

Двигались почти без отдыха, с малыми привалами. К полудню третьего дня Джонсон, ведший левую колонну, после того как нас обстреляла в упор появившаяся на фланге немецкая батарея, вдруг исчез, вместе с капитаном Шафаловичем. К вечеру получаю записку из Сувалок:

«На каком основании вы остались при войсках, а не сопровождали меня? Джонсон.»

Отвечаю также полевой запиской:

«Полагаю, что место начальника штаба должно быть именно при войсках, особенно, в настоящем положении; не считаю возможным присоединиться к вам раньше, чем полки давизии не подойдут к Сувалкам.»

Ни одного слова упрека Джонсон не осмелился мне сделать, когда мы входили в этот город.

В Сувалках находился к утру 1-го февраля уже весь генералитет 20-го корпуса, во главе с Булгаковым. На Военном Совете, прошедшем под знаком усталости и уныния, ничего путного решено не было; да и трудно было что-либо предпринять. Директива определенно указывала, что пути отступления должны были вести через Сувалки прямо на восток к Гродно, через трудно проходимый Августовский лес, без единой шоссейной дороги, по узким грунтовым и лесным тропам, почти на протяжении ста верст. Все пути к северу и югу от этого почти девственного леса были предоставлены другим корпусам 10-ой армии, — они и успели проскочить к Неману. А шоссейная дорога от Августова на Гродно уже к вечеру 2-го февраля была в руках немцев, то есть, непосредственно на фланге колонн 20-го корпуса. На рассвете того же числа три дивизии втянулись в злополучный лес, превратившийся ровно через неделю в их могилу.

Истощенные войска шли день и ночь, без сна, в стужу, по снегу, питаясь больше сухарями, что были у солдат в ранцах. Отсталые и раненые или замерзали, или попадали в плен; по ночам велась со всех сторон беспорядочная стрельба; артиллерийские лошади выбивались из сил, без корма, вывозя из грязи пушки и зарядные ящики.

* * *

На рассвете 3-го февраля авангард нашей 27-ой дивизии был остановлен в самом лесу артиллерийским огнем, перед деревней Махарце.

При главных силах 27-ой пехотной дивизии, кроме Джонсона, находился сам командир корпуса Булгаков, его начальник штаба генерал Шемякин, начальник артиллерии генерал Шрейдер и офицеры генерального штаба корпуса.

Булгаков знал Джонсона еще по 25-ой пехотной дивизии, где тот у него был бригадным, и Джонсон, ласковый с начальством, пользовался полным доверием корпусного командира. Знал хорошо Булгаков и меня по Люблину.

Получив от находившегося в авангарде дивизии полковника Белолипецкого донесение о том, что деревня Махарце занята немецкой артиллерией и пехотой и что путь прегражден, начальство решило атаковать и прорваться.

Я вызвался поехать вперед, произвести рекогносцировку, войдя в связь с Белолипецким, и на месте отдать нуж-

ные распоряжения. Ни один из генералов не двинулся с места, хотя, казалось бы, Джонсону и сам Бог велел поинтересоваться, что происходит с его войсками. На самого Булгакова рассчитывать не приходилось, он уже достаточно размяк; его начальник штаба тоже не выходил из состояния апатии.

Найдя Белолипецкого сидящим в какой-то яме, с телефоном в руках, близ опушки леса, у дороги ведущей в деревню, — он уже связался со своим авангардом, — я переговорил с ним и вышел на дорогу, чтобы ознакомиться с обстановкой. После чего, пользуясь данной мне «карт бланш» и в согласии с Белолипецким отдал, от имени начальника дивизии, приказание:

— 108-му Саратовскому полку продолжать действовать левее дороги; полковнику Отрыганьеву с его Уфимским полком рассыпать цепи в лесу — правее, и начать наступление; трем батареям найти в лесу позицию, для обстрела деревни.

Пока шла подготовка к этой атаке, по дороге из Махарце выехала парная повозка и спокойно двинулась по направлению к Августову; в повозке сидел немецкий полковник, убежденный, что он находится в расположении своих войск.

Все было столь неожиданно для стоявших в лесу у дороги Уфимцев, что они долго не решались схватить этого чудака. Среди бумаг пленного полковника было найдено донесение его начальника дивизии в высшую инстанцию о том, что 20-ый корпус окружен перед деревней Махарце, и теперь только вопрос часов об его пленении.

На деле все произошло иначе и дивизия немецкая не только ничего не окружила, но была отброшена, при чем в плен попало около тысячи немцев, с целой пионерной ротой, пятью офицерами, 8-ю пушками и 15-ю пулеметами.

Самым блестящим эпизодом в атаке был несомненно акт безумной храбрости, оказанной моим приятелем по Вильне штабс-капитаном Шеповальниковым.

Когда я увидел ясно в бинокль, что немецкие пушки у Махарце стоят узким фронтом вдоль дороги, на болотистом грунте, стесненные лесом, и стреляют по нашим невидимым батареям, я проехал в одну из них, где находился Шеповальников, и говорю ему:

— Слушайте, Александр Александрович, хотите получить белый крест, или золотое оружие? Если хотите, возьмите одну пушку, выведите ее из лесу на дорогу и обстреляйте беглым огнем немецкую батарею.

Он без колебания согласился.

Орудие выехало внезапно для немцев на дорогу, на самую близкую дистанцию, и картечным огнем Шеповальников перестрелял прислугу и лошадей; немцы не успели и опомниться.

В то же время наши цепи перешли решительно в наступление. У противника, не ожидавшего столь стремительной и смелой атаки, произошла паника, передавшаяся в тыл; дивизия их отошла, путь 20-го корпуса оказался открытым. Все было кончено до полудня.

Небольшая деревня Махарце, не больше десятка домов, была переполнена ранеными немцами; придорожные канавы до верху набиты убитыми; тут же валялись артиллерийские лошади.

Отсюда же я послал своему начальнику дивизии подробное донесение об успехе операции и в ответ получил записку, написанную лично Джонсоном:

«Командир корпуса и я поздравляем вас с Георгиевским крестом».

Потери наши были незначительны; больше всего пострадали Уфимцы, потерявшие серьезно раненым их храброго командира Отрыганьева. Он повел лично наступление своих трех батальонов, шел с цепями, вместо того, чтобы остаться при четвертом, в резерве.

***

Одержанная полками 27-ой пехотной дивизии победа позволила войскам 20-го корпуса продолжать свое траурное шествие через Августовский лес.

Двигались медленно, черепашьим шагом, буквально продираясь сквозь чащу деревьев и кустов, по невылазной, смешанной со снегом, грязи. Ночью итти было совершенно невозможно в непроглядной тьме; усталые солдаты валились прямо в грязь и снег, и засыпали мертвым сном.

Помимо того, немцы теснили со всех сторон, ружейная и пулеметная стрельба не прекращалась до рассвета.

Положение офицеров, до самых высших чинов, было нисколько не лучше; во всем лесу встречалось очень мало населенных пунктов; высылаемые квартирьеры натыкались в крестьянских домах на спящих солдат, разбудить которых можно было только прикладами ружей.

Когда мы, например, с Джонсоном и двумя штабными

офицерами хотели ночью войти в одну из таких халуп, чтобы хотя на 2-3 часа вздремнуть, а мне еще следовало написать приказ по дивизии, то наши вестовые очень долго бились со спящими, выбрасывая их из избы, с руганью и мордобоем.

Так шли еще четверо суток.

**
*

Днем 8-го февраля сделалось совершенно ясно для командира корпуса и для всего командного состава, что мы окружены со всех сторон. До выхода из леса перед Гродненскими фортами оставалось не больше полуперехода, верст 10-12.

Булгаков, ехавший все время в закрытом экипаже, в нем он мог и спокойно спать, вышел наконец из него и собрал, в покинутом помещичьем доме у деревни Липины, всех генералов с начальниками их штабов, на Военный Совет.

Совещание длилось почти целый день, так как обстановка быстро менялась не в нашу пользу; авангарды дивизий наткнулись в самом лесу на сильные соединения противника, выброшенные уже со стороны Гродны.

**
*

Вот в нескольких словах, как началось и закончилось окружение 20-го корпуса немецкими войсками.

Когда вечером 28-го января было получено приказание начать отход от Восточной Пруссии, то правый фланг всей 10-ой армии уже был обойден двумя немецкими корпусами. Они без труда отбросили всю кавалерию; на следующий день вошли в стык двух русских корпусов; вынудили группу генерала Епанчина отступить на Ковну; а затем, кружным путем, целый немецкий корпус пошел в глубокий обход через Кальварию к Гродно.

В этом форсированном марше, по 60 верст в сутки, то в дождь, то в снег, когда дороги превращались порою в гололедицу и обозы не поспевали за войсками, — немецким солдатам приказано было питаться их неприкосновенным запасом в ранцах.

Артиллерию поставили на полозья, чтобы успеть заранее занять Сопоцкинские высоты, перед выходом из Августовского леса. И они успели занять эти высоты и поставить на

них сильную артиллерию, — и прямой наводкой — она могла уничтожить всякое живое существо, выходившее из лесу.

К вечеру 7-го февраля вся картина трагического положения 20-го корпуса была ясно вырисована; оставался лишь один шанс — прорваться, под покровом ночи бросив все обозы.

На Военном Совете Булгакова приняли участие: три начальника дивизий — Джонсон, Розеншильд-Паулин и Федоров; начальник штаба корпуса генерал Шемякин, начальник артиллерии Шрейдер, пять бригадных командиров, среди них генералы Чижов, Филимонов, Хольмсен и Беймельбург, — всего 11 генералов и несколько офицеров Генерального Штаба.

Царило уныние; никто из присутствующих не был уверен, что выйдет живым из этой западни.

Обращаясь ко всем, Булгаков часто спрашивал и мое мнение, — своего он не имел; и когда я высказался за то, что для обеспечения ночного прорыва следует подумать и о сильном арьергарде, так как немцы несомненно ударят с тыла, Булгаков немедленно с этим согласился.

Каково же было мое удивление, когда для столь ответственной операции он не остановил своего выбора ни на одном из присутствовавших генералов, а обратился прямо ко мне:

— Поручаю вам составить этот арьергард из всех частей, что вы найдете здесь в лесу, оторвавшихся от своих полков; в придачу возьмите всю 53-ю артиллерийскую бригаду и 20-ый мортирный дивизион. В начальники штаба к вам назначаю штабс-капитана Махрова, — это отличный офицер.

Пока я с Махровым собирал отдельные роты и группы отставших солдат, болтавшихся в лесу, немецкие орудия уничтожали наши батареи, как только те осмеливались выехать на какую-либо лужайку.

Это была потрясающая картина: передки не успевали отъехать, как немцы, отличо все видевшие с Сопоцкинских высот, в несколько минут превращали в месиво и людей и лошадей.

Отданный вечером 7-го февраля приказ гласил:

«Корпусу двумя колоннами с артиллерией, в полной тишине, двинуться в 12 часов ночи из леса к Гродно. Во главе левой колонны идет 27-ая пехотная дивизия, а в правой — 29-ая пехотная дивизия. Арьергарду полковника Дрейера развернуть все находящиеся в его распоряжении силы на по-

зиции, выбранной в лесу, дабы не дать противнику атаковать с тыла уходящие колонны.»

Наступила ночь; стрельба продолжалась со всех сторон, то утихая, то усиливаясь; к полуночи все стихло и колонны двинулись.

Генералы продолжали находиться все вместе; и Джонсон, не решившийся стать во главе своей дивизии, назначил ею командовать того же Белолипецкого.

Я уже с вечера начал собирать пехоту, и к утру 8-го февраля у меня было около 16 рот слабого состава из всех частей корпуса, с офицерами. Проще всего было с артиллерией: оба командира — Кисляков, 53-ей артиллерийской бригады, и полковник 20-го мортирного дивизиона Попов, — выбрали позиции в лесу и готовились встретить картечным огнем неприятеля. Иного рода огня вести было невозможно.

Едва лишь забрезжил рассвет, со стороны Гродны начался бешеный артиллерийский и пулеметный огонь, и в то же время со всех сторон в лесу показались каски немецкой пехоты, поведшей атаку на мой арьергард. Затем немецкая артиллерия начала обстрел леса, где стояли наши лошади, упряжки артиллерии и мой небольшой резерв из нескольких рот. Но помимо этого, при моем арьергарде находились еще трофеи Махарцевской победы: около 1000 немецких солдат, саперная рота, 5 или 6 офицеров, орудия и пулеметы. Все они так же обстреливались, как и мы, своими же немцами.

Как впоследствии выяснилось, из трех с половиной дивизий 20-го корпуса удалось прорваться, не будучи замеченными, только одной бригаде из двух пехотных полков, прочие же войска корпуса, тянувшиеся длинными колоннами, не могли воспользоваться покровом темноты, и из леса выходили только под утро. Обнаруженные немцами с Сопоцкинских высот, они немедленно были остановлены и расстреливались в упор. О сопротивлении не могло быть и речи; артиллеристы заклепывали пушки, выбрасывали и зарывали замки; полковые знамена сдирались с древка, и тоже или зарывались, или прятались под одежду.

* * *

Пока происходила агония главных сил 20-го корпуса, мой арьергард продолжал доблестно, хотя и безнадежно, сражаться, поражая на прямой артиллерийский выстрел немецкие це-

пи, шедшие в атаку на батареи 53-ей артиллерийской бригады и мортиры.

Я с полковником Кисляковым и его адъютантом Кречетовым стоял на небольшой поляне у опушки леса. Простым глазом видели, как картечный огонь одной из батарей укладывал немецкую пехоту; были свидетелями, как от артиллерийского огня немцев взлетали на воздух наши зарядные ящики; наконец, как эту батарею на наших же глазах немцы, в конце концов, взяли в штыки.

Дело подходило к концу.

Я попытался, однако, бросить в атаку бывшую под рукой в резерве роту, чтобы не попасть самим в плен, но она быстро была остановлена пулеметным огнем; раздались стоны раненых солдат и далеко эта рота не продвинулась. Вокруг нас все больше и больше рвались снаряды, свистели пули, раня и убивая находившихся возле нас людей и лошадей.

Пленные немцы метались, не зная как и куда укрыться; среди них начались также потери. Помимо пленных, при моем арьергарде находился раненый полковник Отрыганьев. Он тяжко страдал от холода, лежа в какой то повозке и, не отдавая себе отчета в обстановке, умолял его отправить в какой-либо лазарет.

Видя что положение безнадежно, я вызвал старшего из немецких офицеров, стоявших неподалеку и объявил ему, что, не желая держать пленных под обстрелом, я отпускаю их к своим, но с условием, что их начальство даст также пропуск нашим раненым в Гродно.

Тут же был сооружен белый флаг с красным крестом, намазанным кровью убитой лошади, и вручен пленному офицеру вместе с запиской, лично мною написанной, для немецкого командования.

Напутствуя полковника Отрыганьева, отправленного с немцами, в сопровождении врача, я вынул из седельной сумы коньяк и подарил ему, растрогав его до слез.

Через полчаса после ухода пленных немцев, получился краткий ответ от их ближайшего начальника, написанный по немецки:

«Вы окружены, вам остается только сдаться», — и больше ни слова.

— Сволочи, подумал я, — хотя наивно было предполагать, что немцы согласятся отпустить раненых.

Но бой все продолжался, стрельба усиливалась.

Вдруг мой верховой конь Гондарас, бравший еще недавно на скачках в Варшаве призы, повалился на землю, сраженный пулей в сонную артерию, и кровь темной струей брызнула как из фонтана на много шагов. Он тяжко захрипел, вздрогнул всем телом и застыл навсегда.

При других обстоятельствах моему отчаянию не было бы конца; но здесь, я почти не почувствовал жалости и спокойно приказал моему Колесникову, — верному вестовому, — переодеть седло на его лошадь, а себе взять любую, что бродили по лесу.

Было около полудня; ни от одной части своего арьергарда я сведений уже не получал; артиллерия моя расстреляла все снаряды и частью была уже взята немцами; от пехоты не осталось и следа, — солдаты или сдались, или попрятались в лесу, побросав ружья.

Наступил конец. Оставалось или сдаваться в плен, или пытаться куда нибудь уйти.

Подзываю Колесникова:

— Вынь-ка, братец, там из седла бутылку, да дай чарки от фляжек, и поживей.

Может показаться странным, но у меня было предчувствие, что должно случиться какое-то несчастье, и поэтому, уходя из Восточной Пруссии, я уложил, в седельные сумы, кроме нескольких лекарств: коньяк, бутылку шампанского, сахар, четвертку чая и коробку гаванских сигар Hoyo de Monterrey — подарок моей жены.

Коньяк порадовал тяжело раненого Отрыганьева, а вот эту бутылку шампанского, не то перед смертью, не то перед тем, как нас схватят через несколько минут немцы живьем, я решил распить тут же под огнем, среди раненых и убитых.
Был мороз, было холодно, — температура для этого благородного напитка самая подходящая.

Обращаюсь к Кислякову:

— Ну, полковник, повоевали, выпьем теперь по стакану вина, перед тем как уйти от немцев живыми; Бог знает где и когда снова встретимся.

И вот я налил в алюминевые чарки шампанского Кислякову, Соколову, Махрову, себе; — они не верили своим глазам. Мы чокнулись. И едва только выпили, как раздался страшный удар и возле нас разорвался артиллерийский снаряд; —

Кисляков без звука упал мертвым на землю, застонал раненый его адъютант Соколов *.

Меня слегка контузило, — предохранил одетый на голову меховой башлык; Махров и Колесников, стоявшие рядом, не пострадали.

Но и эта смерть не произвела большого впечатления, настолько притупились нервы за десять дней, проведенных без сна, в боях, в постоянном напряжении, среди убитых, раненых и умиравших по пути в грязи, людей и лошадей.

Снова к Колесникову:

— Давай коня.

И затем громко обращаюсь к столпившимся возле офицерам и солдатам:

— Кто не хочет сдаваться в плен — за мной, верхом.

Вызвался пехотный капитан с 30 конными, — своей охотничьей командой; конечно Махров с вестовым и двое бравых старослужащих солдат, артиллерийских подпрапорщиков 53-ей бригады.

Первою мыслью было стремление во что бы то ни стало прорваться, и затем, скрывшись в лесу, обдумать, что делать дальше.

Я хорошо знал Августовский лес еще в мирное время по моей службе в Вильне, будучи дважды командирован для его рекогносцировки, в предвидении войны. Поэтому знал несколько убежищ, куда не вела ни одна лесная дорога.

Главное, было уйти возможно скорее от немцев, и уйти не вперед, а в тыл ибо впереди ожидал только плен.

---

* Прапорщик Соколов, — он же писатель Кречетов — будучи в плену, описал этот арьергардный бой. Его статья, при содействии международного Красного Креста была напечатана в 1915 году в Москве, в Сборнике под названием «В память русским пленным воинам», где по моему адресу он сказал много лестных слов и, между прочим, дал аттестацию, которой я, конечно, не заслужил.

— «Полковник Дрейер, этот г е н и й в о й н ы, поражал своей храбростью, спокойствием...»

Впрочем, немецкие газеты того времени также с нескрываемым уважением говорили об отчаянной храбрости войск 20-го корпуса и упомянули о моем арьергарде, где «Полковник фон-Дрейер дрался геройски, но был убит.»

Сколько раз я благодарил судьбу в течение моей долгой жизни, которая порой была жестока и несправедлива, но в пяти проведенных войнах не оказалась злой мачехой.

Так случилось и теперь.

Полевым галопом, с револьвером и винтовками в руках мы вихрем промчались мимо немецкой батареи, где прислуга, окончив бой, спокойно отдыхала.

Ошарашенный появлением скачущей кавалерии, немецкий офицер успел только крикнуть: “Feuer”!

Но солдатам не удалось и зарядить, как мы пронеслись мимо и углубились в лес, продолжая еще долго итти усиленным аллюром.

СИДЕНИЕ В АВГУСТОВСКОМ ЛЕСУ

Гибель 20-го корпуса в Августовском лесу была, если не столь чувствительна для престижа русских стратегов, как катастрофа с армией Самсонова под Танненбергом, то все же понесенные нами потери оказались чрезвычайными.

Немцы захватили 11 генералов, — они целой группой находились все вместе, окопавшись в лесу, возле фольварка Млынек, — всех офицеров, около 60 тысяч солдат, 200 орудий и, конечно, все обозы.

Одиночным порядком прорвались немногие, что-то около восьми офицеров, и среди них оказались, к счастью, полковник Белолипецкий и штабс-капитан Шеповальников. Они прятались в лесу, в картофельных ямах, и дней через десять, двигаясь, по ночам, вышли к своим.

Моя эпопея продолжалась дольше, не то 16, не то 18 дней. Я ни за что не хотел расставаться ни с лошадью, ни с моим преданным Колесниковым, ни с братом моих друзей Махровых. Один из коих, кстати сказать, позарился на мою первую жену и на ней женился в 1909 году в Вильне.

По 3-х верстной карте я определил место, где мы будем в наибольшей безопасности: «Урочище Козий Рынок», в непроходимой чаще и в болоте.

Шли шагом два дня, продираясь через кусты и заросли. ночью спали на земле под соснами, прямо в снегу.

На второй день пехотный капитан заявил:

— Господин полковник, положение наше безнадежное; есть нечего, люди предпочитают сдаться.

— Сдавайтесь, — отвечаю, — ваше дело; мы сдаваться не будем.

Он собрал людей и исчез. Мы остались одни: 6 человек, 6 лошадей; и на вторые сутки добрались до «Козьего Рынка». Так именовалось в дремучем лесу это место.

Как бы мы ни чувствовали себя измотанными физически, однако, моральное состояние наше нельзя было и сравнить в ту минуту с судьбой попавших в плен.

Уже по окончании войны стало известно, что все генералы 20-го корпуса так целой группой и были направлены сперва в Сувалки, для представления командующему германской армии генералу Эйхгорну *, милостиво протянушему им руку. Затем их всех перевезли в Восточную Пруссию и засадили в крепость, кажется, в Торн.

Говорили, что жилось им не плохо, но от безделия и скуки они между собой скоро перессорились. Друзья, — Булгаков и мой начальник Джонсон, — сделались злейшими врагами, друг с другом не разговаривали; прочие все обвиняли в своем несчастии бедного Булгакова и, уже не стесняясь, ругали его чуть не в глаза.

После октябрьского в 1917 году развала русского фронта, все они вернулись в Россию; Булгаков, между прочим, в свое бессарабское имение. Что было с другими я не знаю; известно только, что генерал Джонсон во время гражданской войны чем то командовал под Воронежом и, несмотря на свою осторожность на войне с немцами, попался ночью большевикам, ворвавшимся в дом, где он находился, и был ими прикончен.



Добравшись до надежного убежища, солдаты соорудили шалаш из елочных ветвей для меня и Махрова; а себе шашками вырыли к вечеру второго дня землянку. Лошадей расседлали, спутали им ноги и предоставили питаться чем хотят.

---

* Эйхгорну этому впоследствии тоже не повезло: в 1918 году, командуя немцами на Украине, при Скоропадском, он был убит на улице в Киеве.

Мороз усиливался, болото замерзло: по болоту протекал какой-то ручей, откуда брали воду для чая и поили лошадей, а по утрам умывались.

Есть было нечего; тогда решили убить одну лошадь, — на ней ездил денщик Махрова, — и мясом ее питались, делая на углях шашлыки. Пока не съели лучшие куски, находили, особенно в начале, что только из кавказского барашка мог получиться подобный деликатес.

Лошади копытами старались отрыть траву и сдирали кору с молодых лиственных деревьев. У одного из прапорщиков оказался чайник, у меня чай, можно было согреваться. После «шашлыка» и чая гаванская сигара, по одной в день, являлась для меня редким десертом; иногда давал Махрову затянуться.

Чтобы не замерзнуть, положили между ним и мною срубленную шашкой сосну и жгли ее день и ночь, повертываясь то одним боком, то другим к огню.

Плохо было без хлеба и соли. Тогда на третий день я рискнул послать на разведку в ближайшую лесную деревню. Деревня называлась Чарны Брод; — там стояли какие-то немецкие части. Денщик Махрова оказался очень ловким и осторожным парнем и, несмотря на присутствие немцев, умудрился притащить ночью каравай черного хлеба и даже охапку сена для лошадей. Польские мужики содрали с него 10 рублей, но впредь мы были обеспечены и хлебом и солью.

Наше сидение, вернее лежание на елочных ветвях в шалаше, в болоте и снегу продолжалось более двух недель.

**
*

Василий Семенович Махров, деливший со мной вынужденное сидение в лесу, принадлежал к почтенной семье, откуда вышли три брата, офицеры Генерального Штаба. Все трое служили, как и я, в молодых чинах в Вильне.

Василий, артиллерист 27-ой бригады, был выпущен из Академии в 1914 году, окончив два курса. По окончании Великой войны ушел в Добровольческую армию, а после ее ликвидации, эвакуировался в Северную Африку, Тунис, приняв французское подданство, и до конца жизни состоял на службе Франции.

Второй брат, Николай, тот что женился на моей первой жене, после войны остался в России, командовал у больше-

виков дивизией, но во время генеральной чистки высшего военного состава, в связи с заговором Тухачевского, был расстрелян в 1937 году.

Самые близкие отношения у меня были и сохранились со старшим Махровым, — Петром, произведенным в генерал-лейтенантский чин в Добровольческий армии.

Широко образованный, очень начитанный, знающий довольно сносно три иностранных языка, уже в капитанском чине он начал писать в военных журналах и готовить диссертацию для занятия кафедры в Академии Генерального Штаба. Его литературные опыты не всегда нравились его начальству, и он должен был даже уйти из Виленского штаба и перевестись в Севастополь.

Война застала Махрова в оперативном отделении штаба 8-ой армии Брусилова, где его способности расценивались очень высоко. Уехав в Добровольческую армию, он занимал ответственные посты, и одно время состоял начальником штаба у генерала Врангеля в Крыму.

В эмиграции генерал Махров познал le haut et le bas и жил скромно, почти не нуждаясь, на Ривьере, окруженный любовью своей семьи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АРМИЮ И ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

К концу 3-ей недели нашего сиденья в чаще леса усилилась артиллерийская стрельба, и послышались сильные взрывы в районе Августовского канала; как позже выяснилось немцы уничтожили на канале шлюзы. Посланные к шоссейной дороге Августово-Гродно артиллерийские подпрапорщики вернулись радостные и возбужденные:

— Ваше Высокоблагородие, немцы наверное будут отступать, все их повозки повернуты оглоблями к Августову.

Так оно и случилось. Русское командование, сформировав новую 12-ую армию, перешло из Гродны в наступление и отбросило немцев к Сувалкам, очистив Августовский лес.

26-го февраля мы вошли в связь с казачьими разъездами и, поблагодарив Господа Бога, оседлали отощавших коней и двинулись в путь, через тот же лес к своим, в Гродно. Там находился штаб 10-ой армии с новым командующим, генералом Радкевичем, и его начальником штаба Поповым.

Сперва генерал Попов, затем и сам командующий встретили меня как выходца с того света. В числе пленных, объявленных немцами, я не состоял, и меня считали убитым. Начались расспросы, поздравления и всякие обещания для дальнейшего продвижения по службе.

На деле все произошло совершенно иначе, о чем ни штаб армии, ни я не подозревали, и что выяснилось значительно позже.

***

Получив отпуск и предписание составить подробный рапорт о действиях 20-го корпуса, я, по дороге в Петербург, остановился на два дня в Вильне, у своего бывшего по Туркестану начальника артиллерии, генерала Савримовича, знавшего меня еще кадетом. Там же написал отчет о трагической эпопее наших войск и приложил к нему записку Булгакова о награждении меня Георгиевским крестом.

Отчет этот был направлен Великому Князю Андрею Владимировичу, которому, как юристу, было поручено произвести дознание о действиях 10-ой армии Сиверса, в связи с гибелью 20-го корпуса.

Потеряв все свое имущество, в Петербург я явился в том же грязном полушубке, порыжевших сапогах, в немытом в течение месяца белье, обросший бородой, — прямо в гостиницу Астория на Морской. Не теряя времени, в магазине Кнопа на Невском, экипировался с ног до головы.

Первого, кого я увидел в тот же день, и как раз возле этого Кнопа, был генерал Ренненкампф. Мы кинулись друг другу на встречу и в течение недели, что я оставался в Петербурге, почти не расставались. Я ему подробно описывал про наши незадачливые военные действия, он с грустью говорил о том, как его отрешили от командования, и ему ничего не остается другого, как шлифовать тротуары Невского проспекта.

По телеграмме приехали из Москвы моя мать и моя будущая жена. Они в течение трех недель тщетно добивались узнать в Главном Штабе о моей судьбе. Здесь же я снова увидел своего милейшего родича Николая Исаева. За завтраком в Астории, — нас было трое, — Николай, наговорившись досыта с лакеем татарином, после второй бутылки вина, горько заплакал.

— В чем дело, Коля, что с тобой?

— Эх, братец, плохо мое здоровье. Не долго осталось жить, кровь идет горлом; в последний раз вытекло чуть не пол ведра.

И действительно, недели через три он умер, от язвы желудка. Однако перед смертью все же умудрился попасть со мной в «Виллу Родэ», — знаменитое учреждение, где устраивал кутежи с пляской комаринского Распутин, в обществе своих поклонниц — дам петербургского большого света.

***

Адолий Сергеевич Родэ, владелец «Виллы Родэ», был очень способный и редко одаренный человек. Уроженец Оренбурга, где с незапамятных времен проживала скромная еврейская семья Родэ, мальчик Адольф с самых юных лет проявил исключительные музыкальные способности и чуть ли не

с 16-ти лет резъезжал по российским провинциям, давая концерты.

«Вилла Родэ», с огромной сценой, великолепным садом, превосходной кухней и несравненным погребом лучших иностранных вин, стала известной далеко за пределами не только Петербурга и Российской Империи, но и заграницей.

Артист и ресторатор Родэ, сумел привлечь к себе лучшие силы отечественного и иностранного артистического мира, и создать кафешантанную программу лучшую в России. Своей конкуренцией он убил Крестовский сад, переставший существовать, и отбил у петербургского «Аквариума» богатую клиентуру.

Сам Родэ сильно кутил, ежегодно ездил за-границу, где ангажировал лучших артистов и главным образом артисток, за которыми усердно ухаживал. Тратил он много, — сам сознавался — больше двухсот тысяч в год.

Так длилось до революции, во время революции, и только при большевиках «Вилла Родэ» перестала существовать. Но до начала революции и во время самой войны, благодаря Распутину, дружившему с Родэ, бывший метр д'отель Крестовского сада был допущен ко двору, где в течение двух или трех лет устраивал елку в аппартаментах русского Царя, где его называли запросто «наш хозяин» и где за свои заслуги он получил звание коммерции советника.

Пришли к власти Ленин и большевики; «Вилла Родэ» захирела и скоро закрылась.

В Петербурге в это время на сцену выплыл Максим Горький, открывший возле Зимнего Дворца какой-то кооператив для ученых.

Адолий Сергеевич Родэ, не видевший до того и в глаза Горького, быстро познакомился с ним, вошел в доверие и устроился в этом кооперативе экономом. Горьковское предприятие, однако, вскоре лопнуло; Алексей Максимович перебрался в Берлин; за ним двинулся в путь и Родэ, прихватив бриллианты, набив ими карманы брюк и жилетки.

В Берлине, где эмигрантом в 1921-1923 году находился и я, с женой и двумя детьми, Родэ состоял первое время при том же Горьком. Жили они: Родэ, Горький, его жена — Андреева, любовник Андреевой большевик Крючков — (секретарь Горького), — его сын Максим со своей молодой и очень красивой женой, — жили все вместе в меблированном доме на «Курфюрстен Дамм» — в лучшей части Берлина.

Здесь Горький затеял снова какое то благотворительное

учреждение для ученых, приезжавших из России, при участии того же А. Родэ, но ничего из этого не вышло; деньги, на которые они рассчитывали, из за-границы им посылали туго, и все кончилось.

У Роде я неоднократно встречал Шаляпина, его дочь Лидию, открывшую затем студию пения в Нью-Иорке, и писателя Графа Алексея Толстого.

У Родэ оставались еще небольшие средства, он ликвидировал одни за другим свои бриллианты, потом — серьги и кольца своей жены, и устраивал великолепные приемы на своей квартире, но уже без Горького.

На одном из таких обедов, помню, Шаляпин играл в винт, где одним из партнеров был актер Борисов из Московской «Летучей Мыши» Балиева, создатель известной песенки: — «Оружьем на солнце сверкая, под звуки лихих трубачей».

Вот этот Борисов, проиграв довольно крупную сумму Шаляпину, долго рылся в кармане, и затем заявил, что деньги забыл дома, и заплатит после.

— Сукин сын, — заревел басом Федор Шаляпин, — когда я проигрываю, так вы с меня немедленно дерете, а как вам платить, так после; сволочи.

Но скоро отошел, и за обедом потешал всех анекдотами и рассказами, которые с редким мастерством передавал.

В 1923 году немцы ввели свою рентен-марк, и русская эмиграция бросилась бежать из гостеприимного «Фатерланда», кто куда мог.

Максим Горький уехал в Россию, граф Алексей Толстой — в Париж, Родэ очутился тоже в Париже, с женой, собакой, но без бриллиантов.

Здесь он пытался снова воскресить то свою «Виллу Родэ», то boite de nuit «Эльбрус» — но не преуспел и окончательно обнищал.

Он до конца своей жизни остался выпивалой, бабником, лишился своей жены, бросившей его, и в 1929 году умер от апоплексического удара. На панихиде в Церкви на улице Дарю, у гроба собрались все его многочисленные друзья, и соборный протоиерей, отец Спасский, в своей задушевной речи характеризировал его, как доброго отзывчивого человека и христианина.

***

Так вот этот Родэ, когда я приехал в Петербург, после сидения в снегу и болоте Августовского леса, увидя меня в

живых, при первой же встрече потащил в свой ресторан и просил позвать всех, кого я только хочу. Были: Мазаев, — редактор «Нового Времени», Ренненкампф и сам Родэ.

Мы сидели в директорской ложе, ели, пили шампанское, смотрели на сцену, слушали русские и цыганские хоры. Ренненкампф сидел грустный, ему видимо было не до веселья. И даже «лапотники» — гвоздь программы — труппа Родэ из 8-ми человек, где они плясали и пели:

«В Париже, в Париже, в Париже хорошо,

и нам с тобой, Ванюха, побыть там не грешно», — даже этот боевой номер кафе-шантана Родэ не мог вывести Ренненкампфа из состояния подавленности, замеченной всеми. Он много пил и не выдержав, вероятно под влиянием вина, вдруг начал говорить о том, как с ним несправедливо поступили.

— Меня отстранили от командования армией, совершенно не за что; и все это по проискам Сухомлинова. Я просил дать мне любое назначение, готов был принять даже эскадрон, лишь бы не оставаться здесь без всякой пользы, без всякого дела; мне даже не ответили.

И вдруг, к нашему ужасу и конфузу, этот сильный, мужественный и храбрый генерал залился горючими слезами.

Так кончился наш вечер в кафе-шантане Родэ.

Судьба бедного Павла Карловича Ренненкампфа известна. Во время революции Керенский упрятал его в Петропавловскую крепость, откуда ему все же удалось выбраться до прихода большевиков. При большевиках, после падения Украины гетмана Скоропадского, он скрывался в Таганроге, в доме знакомых его жены, уроженки Таганрога. Генерал сбрил свои усы и подусники, никуда не показывался, но все же пронюхали, куда ходила его жена, носившая ему пищу. Его арестовали и приговорили к расстрелу, обвиняя, главным образом, в усмирении рабочих в 1905 году в Сибири, по окончании русско-японской войны. Перед расстрелом, по словам жены Ренненкампфа, в эмиграции в Париже, его мучили, выкололи глаза, и привязав к столбу, изрешетили пулями.

ОТЧИСЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Пробыв около недели в Петербурге, называвшемся уже почему то Петроградом, я решил отправиться прямо в Ставку, дабы получить новое назначение на фронт.

Главная Квартира Великого Князя Николая Николаевича находилась в начале 1915 года в Барановичах, где на станции стоял поезд и в нем размещался штаб Верховного Главнокомандующего; Его Высочество занимал отдельный вагон.

Чувствуя себя героем после перенесенных недавних боев, и избежав плена, я не подозревал какой сюрприз меня ждет в Барановичах, когда доложив о себе, я собирался войти в штабный вагон.

Первый, вышедший мне навстречу, был генерал Новиков, уже отчисленный от командования корпусом, и состоявший временно для поручений при Великом Князе.

Увидя меня он, едва поздоровавшись, сразу заявил:

— Послушай, я ровно ничего не могу для тебя сделать.

Не понимая в чем дело, отвечаю:

— Да я ничего от тебя и не прошу, я приехал узнать только о моем новом назначении.

Мы прошли в столовую; было время завтрака; меня засыпали вопросами о том, как погиб 20-ый корпус, а с ним и моя 27-ая дивизия. Но когда я обратился к дежурному генералу с вопросом, куда мне следует ехать и что принять, он, немного смутившись, ответил:

— Вы это узнаете в штабе 10-ой армии в Гродне.

Но я узнал раньше, там же в Барановичах, от товарищей по выпуску из Академии.

Оказалось, что рапорт генерала Залесского и заключение Бонч-Бруевича возымели свое действие, и без всякого расследования и объяснения с моей стороны, мне предлагалось уйти в запас, или принять батальон в пехотном полку, с отчислением от Генерального Штаба.

Судьба горько надсмеялась над будущим Георгиевским кавалером и «гением войны», сражавшимся в смертном бою в лесах Августова.

Только не в запас, была первая мысль, когда подавленный человеческой несправедливостью, я покидал Ставку Августейшего Главнокомандующего.

Генерал Попов, начальник штаба 10-ой армии, когда я приехал в Гродно, был поражен услышав обо всем, что со мной случилось.

— Не огорчайтесь, — утешал Попов, — вы у нас на прекрасном счету, пробудете недолго батальонным командиром и получите скоро полк, у вас большое старшинство в чине полковника.



Приняв батальон, в 345-ом Ирбитском полку, занимавшем позицию в том же Августовском лесу, недалеко от той же деревни Махарце, я сменил серебренные погоны на золотые армейские, и скоро забыл о своем генеральном штабе.

Мой командир, полковник Никитников, сибиряк по всей своей прежней службе, предоставил мне широкую инициативу, поручив командование тремя батальонами, стоявшими на позиции, с приданной ему артиллерией. Он, видимо, был очень доволен, что к нему попал помощник, позволивший ему спокойно сидеть в резерве, не волноваться о том, что происходит там, на позиции, и играть целыми днями с адъютантом в преферанс.

Вскоре в соседнем Анапском полку заболел и уехал в отпуск командир, и я, как старший в дивизии полковник, принял временно этот полк и начал в нем наводить порядки, беспокоя немцев, подвезя в самые окопы несколько полевых орудий.

Так прошло три месяца.

ПАДЕНИЕ КОВНЫ

В июле 1915 года немцы перешли в общее наступление по всему русскому фронту, угрожая крепостям: Ковне, Осовцу и Новогеоргиевску.

Штаб 10-ой армии, для разведки впереди Ковны и для связи между крепостью и флангом армии, выслал вперед отдельную казачью бригаду — Терских казаков, под командой генерала Хитрово.

Попов, повидимому, не очень верил в этого Хитрово, оказавшегося в действительности вялым и очень нерешительным человеком, и вспомнив обо мне, по моей службе в кавалерии Новикова, дал мне предписание отправиться в эту бригаду и вступить в должность начальника штаба.

Немцы, пользуясь тем, что в русской армии почти иссяк запас патронов и орудийных снарядов, теснили наши армии все дальше к востоку.

Штаб армии перебрался из Ковны в Вильну.

Терские казаки генерала Хитрово отлично сражались, без всяких историй спешивались и рыли окопы, задерживая продвижение немцев, подходивших уже к крепостным фортам Ковны. Немцам отлично были известны все слабые места крепости еще по мирному времени, благодаря шпионажу.

В Ковне находился крупный завод Тильмана; в крепости же в мирное время было немецкое консульство. Немец Тильман до войны очень дружил с офицерами Ковенской крепостной артиллерии, играл крупно и охотно проигрывал большие суммы в «железку», бывая у них в собрании.

Консул, без всякого стеснения, ежедневно совершал верхом прогулки по фортам и входил всюду, куда хотел, никем не тревожимый. Позже выяснилось, что они и были главными шпионами, позволившими немцам без всяких потерь овладеть крепостью первого класса в течение нескольких дней.

Помог еще Военный Министр Сухомлинов, упразднивший крепостные войска.

В момент штурма Ковна была занята какими-то второочередными частями, никогда прежде не видевшими в глаза крепостных верков.

Имея задачей поддержание связи с Ковной, я заявил генералу Хитрово, что лично поеду узнать у коменданта о положении дел. Хитрово не очень горячо принял мое предложение, ему не хотелось оставаться одному, но я настоял и поехал. Чем ближе подъезжал, тем сильнее слышались взрывы тяжелых снарядов — «чемоданов», — обстреливавших уже самый город.

Зная великолепно Ковну по мирному времени, я без труда, в сопровождении вестового, нашел дом коменданта крепости генерала Григорьева и сразу же наткнулся на его начальника артиллерии; — они мирно беседовали впереди террасы перед цветником.

Представился, доложил, что хочу узнать о том, как происходит оборона крепости.

— Да, вот, говорят, что немцы обстреливают уже госпиталь.

— А как же у вас, Ваше Превосходительство, идут бои на фортах?

— На фортах? Кажется еще держатся, я сведений не имею, отвечает комендант.

В это время из дома выбежала кошка и кинулась в цветник. Григорьев бросился за нею, стараясь ее выгнать, чтобы не испортила цветов.

Покончив с кошкой, он, довольный, вернулся и, обращаясь к начальнику артиллерии, спрашивает:

— А как наша артиллерия, хорошо стреляет?

— Я думаю, что хорошо, — отвечает тот. — А вот посмотрите, какой осколок я нашел возле моего дома, — и протягивает Григорьеву кусок железа.

С брезгливым чувством я распрощался с двумя главными защитниками крепости.

Кто мог бы подумать, что во главе одного из главнейших укрепленных пунктов Российской Империи находится такое ничтожество, как этот комендант Григорьев. И они двое, с другим главным защитником крепости, накануне штурма, мирно беседуют, болтают всякий вздор, а сам комендант еще гоняется за кошкой.

Вернувшись к своей конной бригаде, я послал донесение генералу Попову, где в осторожных выражениях высказал свое мнение, что крепость Ковно едва ли долго продержится.

Оно так и случилось.

Несмотря на всю доблесть крепостных артиллеристов, до

конца остававшихся при своих пушках, немцы через два дня взяли ее штурмом.

Григорьев не дождался конца, и за день до сдачи крепости, попросту из нее уехал.

Преданный немедленно Военно-полевому Суду, он был разжалован и приговорен к каторге на 10 лет.

Взяв Ковну, овладев позже Новогеоргиевской крепостью, немцы продолжали далее теснить русские войска и перебросили через Неман часть своих армий, остановленных только на Двине, от Риги до Двинска, где был сформирован наш новый «Северный фронт», порученный генералу Рузскому.

Штаб 10-ой армии к осени перешел сперва в Минск, а затем в Молодечно, где и оставался весь 1916-ый и большую часть 1917-го года.

Генерал Попов, весьма мне благоволивший, не мирился с мыслью видеть меня, заслуженного офицера Генерального Штаба, в скромной роли батальонного командира и прикомандировал к своему штабу, давая мне всякие поручения в ожидании первой свободной вакансии на полк.

Не будь войны, я этот полк получил бы вероятно не раньше как лет через шесть, но на войне, за убылью офицеров и при развертывании новых частей, все шло гораздо быстрее.

275-ый Пехотный ЛЕБЕДИНСКИЙ ПОЛК

29-го ноября 1915-го года состоялось мое назначение, по линии армейской пехоты, командиром 275-го пехотного Лебединского полка, образованного при мобилизации 1914-го года из кадров 121-го Козловского, стоявшего в Харькове.

Радости моей не было предела; и в ту минуту казалось совершенно неважным, по какой линии я буду командовать полком. Линия Генерального Штаба нисколько не гарантировала ни от смерти на поле сражения, ни от ранения, ни от плена.

Едва только состоялось мое назначение, я немедленно выехал в полк, заехав по пути в штаб 69-ой дивизии, представиться ее начальнику, генералу Гаврилову.

Гаврилов этот, хотя и Генерального Штаба, вероятно, дальше командира пехотной бригады не пошел бы. Он командовал не очень удачно полком в Японскую войну, на Великой — себя абсолютно ничем не проявил, и в должности начальника дивизии свою карьеру закончил.

За все время командования полком я ни разу его не видел у себя, он никогда не покидал штаба, не ездил к войскам, не интересовался жизнью солдата на позиции, в окопах не бывал, ограничиваясь разговорами по телефону. Всем заправлял его начальник штаба, подполковник Граф, а Гаврилов, говорили его офицеры в штабе, только и делал, что ежедневно боролся со своим денщиком, для укрепления мускулов, и бил мух.

Позиции посещал бригадный командир, генерал Котлубай, грузин по рождению, относившийся с нескрываемым презрением к своему начальнику дивизии.

Гаврилов, к которому я явился, встретил меня довольно холодно, — у него был свой кандидат, полковник Немчинов, — от него я и принял 275-ый Лебединский полк.

Мое появление оказалось полной неожиданностью и для Немчинова, и для адъютанта штабс-капитана Калашникова, — оба они были кадровые офицеры 121-го Козловского полка и развернутый из него 275-ый Лебединский полк, считали, — вместе с начальником хозяйственной части Арсенье-

вым, своей вотчиной, никем не контролируемые. Все это вскоре выяснилось, после того, как я исподволь познакомился со всеми деталями полкового хозяйства и личным составом.

Полк стоял, к моему приезду, в резерве и отдать себе отчет во всем оказалось довольно не трудно.

Как известно к концу 1915-го года и весь 1916-ый год, русский фронт окончательно стабилизировался, и война, так же как и на Западе, приняла позиционный характер, с попытками прорывов, то на одном, то на другом участке австрийско-германского фронта. Поэтому, по-очередно, в каждой дивизии, один из полков на две-три недели выделялся в резерв, для отдыха и пополнения.

Вступая на позицию каждый командир принимал меры к ее укреплению проволочными заграждениями, углублению окопов, устройству более надежных убежищ, а также пристрелке приданной артиллерии, на случай неприятельской атаки и т. п. Преимущество немцев, сидевших также за проволокой, сказывалось буквально во всем. Они громили русские позиции тяжелой артиллерией, минометами, громадным количеством пулеметов. У нас же тяжелой артиллерии почти не было, пулеметов полагалось всего 8 на полк, патроны у солдат были на счету. А фронт, поручаемый полку, превосходил иногда три-четыре версты.

Мораль пехотного бойца можно было поднять лишь частым появлением в окопах и личным примером мужества, поощрением какой либо наградой за проявленую храбрость.

Поразившись на первых порах, что за полтора года войны в полку не было даже музыки, что полагалось по штату, я тотчас же озаботился создать духовой оркестр, а за ним и балалаечный, и позже еще третий из 4-5 музыкантов. Солдаты окрестили его «оркестром командира полка».

Чувствуя оппозицию в кадровых офицерах, особенно со стороны адъютанта, фактически до меня чуть не командовавшего полком, я его сменил, дав ему роту и назначив на его место поручика Самойловича с университетским значком, очень умного и дельного офицера, оказавшегося прекрасным помощником и исполнителем моих приказаний.

Немчинов скоро получил также полк, а с ним прекратилась окончательно всякая фронда.

Второе, что меня поразило, это отсутствие команды конных разведчиков, существовавших в числе 30-40 человек в каждом первоочередном полку. Я сделал попытку выделить

из состава полкового обоза подходящих лошадей и, купив седла, обучить более разбитных солдат верховой езде. В полку оказалось несколько кавалеристов, поступивших при комплектованин из запаса.

Поручив двум унтер-офицерам выбрать лошадей в обозе, я был совершенно поражен, когда один из них, стесняясь заявил:

— Ваше Высокоблагородие, дозвольте доложить, в полку у нас очень много лишних лошадей, кроме обозных.

— Откуда ты это взял?

— Ваше Высокоблагородие, я боюсь говорить, но когда мы были в Галиции, штабс-капитан Арсеньев набрали штук двести лошадей, часть продали, а больше половины стоят в обозе.

Все оказалось правдой, и лошади эти, нигде не записанные, ели часть дачи, за счет обозных.

Зову адьютанта.

— Пишите приказ: «Штабс-капитану Арсеньеву сдать хозяйственную часть и полковые суммы подполковнику Молдованову; всех здешних лошадей, не числившихся в списках, передать в обоз и зачислить на довольствие.»

Арсеньев не пытался даже оправдываться, когда я его позвал к себе:

— Не хочу предавать вас суду, подайте рапорт о болезни, уезжайте в отпуск и переводитесь в другой полк; портить вам карьеру не буду.

Через три месяца моя конно-охотничья команда состояла из 120 человек; я лично обучал их верховой езде, когда полк стоял в резерве. К сожалению, пробыла она в полку недолго; начальство считало, что она слишком велика и почти целиком забрало в штаб корпуса.

К счастию, никто не позарился на моих музыкантов, и мне удалось создать действительно первоклассный оркестр, где было даже несколько человек, кончивших Консерваторию. Для поощрения, я назначил двум-трем настоящим музыкантам очень крупное жалованье, чуть не 30 рублей в месяц. Это как то распространилось, по неизвестной «пантофельной почте», и ко мне вдруг нахлынули, даже из Москвы добровольцы — настоящие артисты, прося их зачислить в полк.

Появился и капельмейстер.

В течение многих месяцев полк занимал позиции в расстоянии не более пол километра от немецких. Наши проволочные заграждения местами почти соприкасались. Два-три раза в

неделю вызывался из обоза духовой оркестр, почти к третьей линии окопов. Здесь, с помощью полковой саперной команды, строилась специальная ротонда, и солдаты мои слушали музыку у себя в окопах. Но музыку эту великолепно слышали и немцы, и тотчас же прекращали всякую стрельбу. Мало того, когда однажды оркестр неожиданно заиграл: "Poupchen, du bist mein Augen Stern", — из немецких окопов раздались громкие аплодисменты.

Балалаечный оркестр был слабее, он предназначался для моих солдат, когда полк уходил в резерв.

За то «оркестр командира полка» мог почти конкурировать со знаменитым квартетом виленского Жоржа — Георгиевской гостинницы.

Скрипка, виолончель, флейта, контрабас, он же пианист, были настоящие профессионалы, развлекавшие меня, моих случайных гостей, и начальство, в лице командира корпуса Артемьева и бригадного генерала Котлубая.

Генерал-лейтенанта Артемьева я знал еще по 14-му корпусу, когда он командовал 2-ой стрелковой бригадой. Не в пример Гаврилову, Артемьев приезжал довольно часто, сразу отправлялся на позицию, в окопы, проверял службу, знакомился со всеми, делал замечания, ходил открыто, не сгибаясь, не кланялся пулям.

Его высокий рост немедленно вызывал не только ружейную стрельбу, но и шрапнельный и гранатный огонь артиллерии. И он и я как то благополучно выходили из этой рискованной прогулки; но в одно из посещений его адъютант был сражен артиллерийским осколком на смерть.

После смотра, Артемьев принимал приглашение у меня позавтракать, и спешно вызванный на подводах мой квартет услаждал нас музыкой веселого жанра.

Должен откровенно признаться, что по свойству своего характера я никогда не любил серьезной музыки, засыпал на операх, никогда в жизни не посетил ни одного симфонического концерта, терпеть не могу современного джаза с его беснующимися на сцене неграми, но помню много опереток, очень неравнодушен к русскому хоровому пению и ко всему что создали "à la Belle Epoque".

Мои музыканты это скоро поняли, и программу выработали соответственно вкусу их командира. Флейтист еврей, окончивший частную консерваторию, иногда входил в раж и, исполняя какую-то веселенькую мелодию, вдруг начинал подпевать:

«А другому сала было мало,
тра-та-та, тра-та-та...»
и прибавлял не без гордости:

— Вы знаете, Ваше Высокоблагородие, моя сестра «шансонетка».

Музыканты эти меня, видимо, любили и знали, что командир не пожалеет дать им на закуску селедку с луком и разбавленного спирту. Последний полагался у меня только за хорошую разведку, или отпускался повару за особенно удачное блюдо. Повар этот, Павел, служивший шефом в одном из лучших ресторанов Харькова, был своего рода феномен.

Настоящий артист, он иногда, где то напившись, портил все так, что нельзя было есть. Тогда я его немедленно ставил на час под ружье. А когда ему, в награду за хороший обед отпускалась порция «вина», он неизменно повторял:

— Ваше Высокоблагородие, дозвольте чистого, — и одним махом опрокидывал в себя почти целый стакан 90 градусного спирта, даже не поперхнувшись.

Многие офицеры были тоже не прочь выпить, но это строго преследовалось. К тому же водка в продаже была запрещена; а спирт, находившийся в полковых лазаретах, для медицинских целей, был под контролем старшего врача, и без разрешения командира никому не выдавался. Выпивалы это знали, и у меня в полку очень ухаживали за доктором Иваншиным.

Создав вслед за музыкой полковую лавочку, где солдаты по дешевым ценам могли купить «мыльцо-шильцо», табак, чай, сахар и все, что им не доставало к полагавшемуся довольствию, а офицеры — и всякие деликатесы, я был очень удивлен, когда, мой денщик Молчанов, посланный купить для меня одеколон, вернулся и смеясь заявил:

— Ваше Высокоблагородие, нет «дикалону», капитан Купцов все забрали, они его пьють.

Оказалось, действительно, что батальонный командир Купцов, за неимением «простой», под закуску пил Брокаровский одеколон.

Пришлось запретить держать в лавке духи и одеколон.



Как-то весной, войдя в штаб полка, застаю своего адъютанта и молоденького прапорщика Яхонтова, начальника ко-

манды разведчиков, — оживленно беседующих с двумя кокетливыми девицами.

Девицы представляются:

— Мы командированы в ваш полк на неделю, чтобы устроить зубоврачебный кабинет; мы — зубные врачи.

— Очень приятно, — отвечаю, улыбаясь; — вот у этих двоих как раз очень болят зубы, они только и ждали опытных дантистов.

Кабинет был быстро сооружен в какой-то избе, и у «зубодралок», как их сразу окрестили, не было отбою от пациентов. Здоровых, кажется, было больше, чем страдавших зубами, — появление на фронте женщин было событием. Из-за одной из этих двух я удостоился позже очень нелюбезного письма от супруги своего адъютанта. Он не замедлил быстро сойтись с более красивой, потребовал развод, и после войны даже женился, уехав в Сербию. Жена Самойловича почему то сочла меня виновником ее несчастья и изругала в письме последними словами.

Прошло некоторое время, «зубодралки» уехали в соседний полк.

Как то является мой Молчанов и докладывает:

— Так что вас спрашивают, Ваше Высокоблагородие, какой то вольный, «Ботвинский» — фамилия.

— Зови.

Входит небольшого роста жгучий брюнет, великолепно одетый, и протягивает записку.

Пишет подполковник Яхонтов, старший адъютант оперативного отделения штаба 10-ой армии:

— Податель сего, г-н Ботвинник, из Минска, подлежащий призыву, просил меня оказать ему протекцию; будьте любезны принять его в ваш полк. Заранее благодарю.

— Вам знакомо какое-нибудь ремесло? — задаю вопрос.

— Господин командир, — заторопился Ботвинник, — что за вопрос? Нас все знают в Минске; мой отец очень знаменитый дантист, у него два кабинета...

— Позвольте, — говорю, — а вы то сами умеете что нибудь делать? Ведь я не об отце вашем спрашиваю.

— Ну, я тоже дантист, я с папашей работаю, нас все знают в Минске, я очень хороший дантист.

И вот в 275-ом Лебединском полку открылся свой собственный зубоврачебный кабинет, куда шустрый Ботвинник привез всевозможные инструменты и принялся рвать и чинить зубы солдатам и офицерам.

Ремесло свое он знал довольно посредственно, за отсутствием опыта, но не стесняясь иногда ставил даже золотые коронки. Это давало ему предлог поехать в Минск, за материалом, где у него осталась жена.

Но раз ему не повезло.

Является ко мне прапорщик Яхонтов с распухшей физиономией и чуть не плачет:

— Поставил мне, господин полковник, этот живодер коронку, нерв вероятно не убил, и вот я не знаю что делать, уже две ночи не могу заснуть.

Зову ротного командира с самого передового участка позиции:

— Дайте винтовку, патроны и лопату нашему зубодеру и посадите его на ночь в передовой окоп, пусть немного поучится сторожевой службе, свою он знает довольно плохо.

Как на зло, в ту ночь немцы открыли бешенную стрельбу минами, засыпав буквально участок позиции, где сидел Ботвинник. В ожидании атаки, я вышел на командный пункт батальонного командира и, сидя в его блиндаже, мы каждую минуту ждали, что при первом прямом попадании он обвалится.

Утром мой зубной врач Ботвиник, вернувшись с позиции — растрепанный, покрытый с ног до головы грязью, захлебываясь рассказывал, как он отражал атаку немцев и, стреляя без перерыва, выпустил все патроны. Он чувствовал себя настоящим героем.

Я себе никогда бы не простил, еслибы его убило, или серьезно ранило.

Интересная подробность по поводу того же Ботвинника, сообщенная однажды мне моей женой, как-то приехавшей ко мне, когда полк был отведен на отдых:

— Ты знаешь, в ожидании экипажа, что ты послал за мной в Минск, в квартире твоего дантиста, я познакомилась с его женой, очень красивой и милой дамой. И в разговоре, она вдрут почему то со мной разоткровенничалась и буквально выразилась так:

— Вы не поверите, госпожа Дрейер, но мне стоило несколько кроватей с «Яхниковым» *, чтобы устроить этого паршивого Яшу, моего мужа.

---

* Полковник Яхонтов.

***

В середине лета 1916-го года, когда во главе русских армий стоял Государь Николай II-ой, с начальником штаба генералом Алексеевым, а Великий Князь Николай Николаевич был отправлен Главнокомандующим на Кавказ, в этот период войны решено было перейти в общее наступление одновременно на Северо-Западном фронте генерала Эверта и Южном — Брусилова.

Эверт долго выбирал, где легче всего можно было произвести прорыв, и решил это сделать в районе 10-ой армии, со стороны Молодечно, наступая затем на Сморгонь и далее на Вильну.

69-ая дивизия, с моим полком во главе, находилась как раз в центре удара. Готовились долго, подвозили тяжелую артиллерию, боевые припасы, сосредоточивали резервы.

За несколько дней до начала атаки прибыла из Москвы чудотворная икона Божьей Матери. Мой полк выстроился в резервную колонну; приехал начальник дивизии Гаврилов, московский протопресвитер с причтом, начали служить молебен о даровании победы христолюбивому российскому воинству. Мы усердно молились.

Вдруг появились в небе два или три немецких авиона и стали швырять на полк бомбы. Попадание в те времена было неточное, бомбы рвались в отдалении, никого не ранило, но церковное благолепие все же было нарушено. Мои офицеры, подавая пример солдатам, не тронулись с места, и только Гаврилов, позеленевший от страха, начал метаться.

Служба кончилась благополучно, полк был отведен на позицию.

Через два дня должна была состояться атака, с предварительной подготовкой артиллерией.

И совершенно неожиданно все было отменено. Эверт узнал, что немцы, вследствие длительной подготовки, поняли, где готовится прорыв и, якобы, сосредоточили значительные резервы для контратаки. Тогда он решил рвать немецкий фронт в районе Минска.

Произведена была новая перегруппировка войск и в назначенный день началось генеральное сражение, приведшее к полному провалу всей операции.

Продвинулись на 5-6 километров, а затем через несколько дней пришлось отойти в исходное положение. Потери оказались громадными: около ста тысяч было убито и ранено,

огромное число офицеров, и среди них шесть командиров полков.

На Южном фронте Брусилова картина была другая. Австрийский фронт затрещал, и только спешный подвоз немецких подкреплений остановил русские армии у подножья Карпат.

ГАЗОВАЯ АТАКА

В начале августа, напротив позиции Лебединского и соседнего справа полка, из немецких передовых окопов каждую ночь начали слышаться какие-то подозрительные шумы. Ничего точно узнать не удалось, тем более, что вскоре эти шумы прекратились. Только позже мы поняли, что немцы, установив баллоны с хлорным газом, ждали благоприятного западного ветра, чтобы отправить нас на тот свет.

Опасаясь все же, хотя не будучи уверен, я начал принимать меры. Были проверены газовые угольные маски; для себя, на всякий случай, я получил вторую; все солдаты в окопах также их получили. Не доставало только для стоявших в дальнем резерве, и для большинства денщиков. В приказе по дивизии рекомендовалось, всем кому не хватит масок, закрывать рот и нос смоченной в какой-то медицинской жидкости марлевой тряпкой. И жидкость, и тряпки были выданы.

Затем была проверена телефонная связь из моего наблюдательного пункта к батальонным командирам; быстрый выход солдат из землянок в окопы и занятие ими своих мест, и особенно усиление передовых. Проверя действия пулеметчиков и пристрелку артиллерии в различные пункты проволочных заграждений, мой наблюдательный пункт обложили соломой; ее полагалось зажечь. Считалось что пока солома горит, он будет достаточно защищен от проникновения газов.

Интересно вспомнить, что один из подпрапорщиков, кадровый унтер-офицер, находившийся вблизи когда я отдавал распоряжения, по фамилии Мусиенко, обратился ко мне и сказал:

— Господин Полковник, надо будет тоже зажечь «фикел», чтоб в тылу видали что идут газы; тогда обозные, что ночью подвозят кухни, быстро повернут обратно; — у них нет масок.

Я засмеялся:

— Ну что же, можем зажечь и факел.

Я не помню, зажег ли Мусиенко свой фикел, но солому зажечь не успели.

Находясь всегда вблизи позиции, я неизменно, руками своей саперной команды, сооружал деревянный дом из двух комнат, — для нас с денщиком, — с обращенной назад террасой.

В тот памятный день мой деревянный домик, прикрытый деревом, находился рядом с третьей линией окопов, где располагался батальон резерва, а вблизи был выстроен с блиндажем командный пункт, с заранее проведенными к позиции линиями телефонов.



Часа в три дня, бригадный генерал Котлубай звонит из дивизии и говорит:

— Я хочу приехать к вам вечером, и не один; пойдем сначала на позицию, а затем посидим, поговорим.

Я сразу понял, что без шашлыка и выпивки не обойтись, и что под «аллаверды» этому кавказцу нужна будет и музыка.

Послал в обоз за своим квартетом, мобилизовал повара Павла, не забыл и «Напереули» — красное кавказское вино типа бордо, доставленное мне как то из Кисловодска отпускным солдатом.

Появляется Котлубай и с ним две наши «зубодралки», наряженные, надушенные, веселые.

Ни о какой позиции, конечно, не было и речи.

Осведомился только:

— Что у вас слышно? — (так обычно спрашивали в Польше), и затем — к столу, на террасу.

И вот, под звуки рыдающей скрипки, в обществе двух миловидных женщин, за великолепно сервированным ужином, в тихую августовскую ночь, не заметили как двигалось время.

И когда мой чудесный грузин, после неоднократного «аллаверды» и «мравалджамие», взглянул на часы, была уже полночь. Ни одного выстрела за все время не раздалось со стороны немцев.

Казалось, что все происходило — и ели и пили мы — не здесь у порога смерти, а где то далеко, в каком то загородном ресторане, не то в Петербурге на Островах, не то в Одессе, на Большом фонтане.

В первом часу гости уехали, я лег спать. Вдруг сквозь сон чувствую, что что-то происходит. Открываю глаза, слышу сильные артиллерийские взрывы и падение, как град, шрапнелей на крышу моего домика. Кричу:

— Молчанов, давай живо одеваться.

Едва успел надеть штаны и влезть в сапоги, в комнату вбегает, с лицом искаженным от ужаса, офицер и от волнения едва произносит:

— Господин полковник, газы. Немцы пустили газы, — и убегает в свою роту.

В мгновение ока я был одет, и к денщику:

— Давай маску, одевай сам.

Натягиваю маску, волнуюсь, и о ужас, — резина — что на голову — лопается. Чувствуется запах хлора. Молчанов немедленно снимает свою и подает мне, а сам бежит к чемодану, вытаскивает мою вторую и надевает на себя.

Немедленно направляюсь к командному пункту, отдаю по телефону, сквозь маску, нужные распоряжения, и одновременно рассылаю ординарцев к батальонным командирам.

Было около двух часов ночи, когда первая волна газов целиком покрыла все расположение полка, до полкового резерва включительно. За ней последовали еще две волны, пущенные противником в 4 и 6 часов утра. Стрельба артиллерийская и ружейная не прекращалась ни на минуту. Вслед за третьей волной, когда она прошла тыл полка, немцы двинулись в атаку.

На всем моем фронте она целиком было отбита; в соседнем полку немцы взяли пленных и пулеметы.

Но потери от газов, и последовавшей за ними атаки были огромные. Выведено из строя: около 1.200 солдат, большая часть умерла; 18 офицеров — умершие или тяжело отравленные; много санитаров, очищавших утром окопы и снявших раньше времени маски, скончались позже в лазаретах. Почти все денщики, у которых на оказалось масок, а были только тряпки, скончались на месте в тяжелых страданиях

На позиции находилось 26 лошадей, доставивших накануне продовольствие; все они подохли, мучаясь и исходя пеной.

Страшную картину представляла вся местность, где накануне все было покрыто зеленью, а после газов желтая, как солома, трава и такие же деревья. Всюду едва передвигаясь и тяжело дыша, ползали полевые мыши и лягушки; в соседней речке плавали мертвые рыбы.

Не снимая маски в течение пяти часов, едва не задохшись,

я благополучно вышел из тяжелого испытания, но в продолжении месяца с трудом ходил, и совершенно не мог ездить на лошади.

Отпущенный для поправления здоровья в отпуск, в середине сентября я вернулся в полк, продолжавший нести до самой революции неинтересную и безотрадную позиционную войну.

РОЖДЕСТВО 1916 ГОДА

Одним из ярких воспоминаний моей жизни на войне был несомненно период, за два месяца до революции, когда мы готовились, отведенные в резерв, встретить Рождество и Новый Год.

В лес, куда с позиции уходил полк, уже заранее была направлена усиленная саперная команда с пилами, лопатами, топорами, выстроить два больших барака, — один для солдатской елки и кинематографа, другой — офицерское собрание со сценой. К сочельнику все было выполнено блестяще; материал находился под рукой; не стесняясь рубили гигантские сосны, пилили доски, сколачивали скамейки, столы, стулья.

Поручик Чехов, командированный в Москву, привез мотор, кинематографический аппарат, цветные электрические лампочки, устроил елку, установил кинематограф, провел в обоих бараках электрическое освещение.

Прапорщик Яхонтов, недурной певец, с несколькими солдатами, был командирован к моему приятелю Родэ в Петроград, где подвизались в то время неаполитанцы, с их знаменитой песенкой: «ямбо, ямбо»..., чтобы изобразить тех же неаполитанцев на сцене офицерского собрания.

Адольфа Родэ я просил оказать моим певцам содействие, что он не только охотно сделал, но прислал еще два ящика вина и ликеров. Тот же Родэ, благодаря своим бесчисленным знакомствам, уговорил одну купчиху с Волги, гостившую в Петербурге, привезти в мой полк к Рождеству солдатам подарки.

Купчиха оказалась прелестной молодой женщиной, балериной Императорской сцены, оставившей ее после выхода замуж за богатого самарского пароходовладельца. Встреченная с подобающими почестями и с музыкой, она после некоторого колебания решила все раздать моим солдатам, вме-

сто того, чтобы поровну распределить по всем четырем полкам дивизии. Привезла она не меньше, как тысяч на двадцать; тут были всех сортов гармонии, балалайки, теплые вещи, варешки и целые мешки конфет, орехов и всякой мелочи.

Все Рождество до Нового Года было посвящено для развлечения солдат, а Новый Год офицеры и гости встречали в Собрании, где для них была организована обширная театральная программа и, после спектакля, бал.

Одетые в специально сшитые национальные костюмы. «неаполитанцы» Яхонтова и он сам произвели настоящий фурор. Под аккомпанемент гитар и мандолин, вызубрив две-три песни, они пели их по итальянски и с таким задором, что трудно было поверить, что перед зрителями сидели на сцене лебединские солдаты, а не подлинные итальянцы.

Не меньший успех выпал на долю «Вещего Олега», боевого номера «Летучей Мыши», где на занавесе изображалась группа солдат, а в вырезанные дыры просовывались головы певцов. И хор пел:

«Как ныне сбирается Вещий Олег
отмстить неразумным хазарам...»

и затем:

«Из темного леса на встречу ему
идет вдохновенный кудесник...»
— Здорово, кудесник, — раздавалось за кулисами.

— Здравия желаем, Ваше Превосходительство, — отвечал хор и продолжал:

«И громче музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит..
Так за Царя, за Родину, за веру
мы грянем громкое ура, ура, ура...» и так далее.

Апплодисментам по адресу артистов не было конца, и мне пришлось выслушать не мало комплиментов от гостей, среди которых было несколько офицеров из штаба армии, из соседних полков, и дам — сестер милосердия Красного Креста из ближайших больших лазаретов. Насколько мне не изменяет память, присутствовала и дочь Льва Толстого, Александра Львовна.

Балом и ужином закончился вечер под Новый 1917-ый Год. Танцовали до самого утра; купчихе-балерине не давали ни минуты присесть; грациозная, веселая, она буквально очаровала всех. И неоднократно повторяла, что никогда так не веселилась, и все это «благодаря Родэ, пославшему ее в такой милый полк».

Веселились и мы все, забыв совершенно о войне, забыв о том, что вблизи находится беспощадный враг, и не подозревая, что вскоре еще более жестокий — убьет на десятки лет у милльонов людей всякое представление о каком либо весельи.

РЕВОЛЮЦИЯ

В последних числах января полк стоял на прежней позиции, где все ограничивалось бесцельной перестрелкой с немцами. В то же время с тыла стали доходить тревожные вести о волнениях в столице, в связи с недостатком хлеба.

В середине февраля я получил двухнедельный отпуск и выехал к семье в Москву. Но в конце месяца уже началась революция, захватившая собой и войсковые части на фронте, где быстро образовались солдатские комитеты, а с ними вскоре и выборное начало командующих лиц.

Я поспешил в полк.

С экипажем в Минске меня встретил Силантий — «Силка», как его все звали, преданный солдат, великолепный кучер. По лицу его я сразу понял, что он чем то озабочен.

— Ну что, Силка, ты доволен, вот и революция наступила?

— Никак нет, Ваше Высокоблагородие, солдаты совсем сдурели; в одном полку, сказывают, перебили много офицеров, а в другом даже командира, и везде комитеты.

— А как у нас в полку?

— Обозные и писаря бунтуют; уж несколько офицеров убегли; не езжайте в полк, Ваше Высокоблагородие.

К вечеру первого марта я приехал в расположение канцелярии моего начальника хозяйственной части, подполковника Молдованова. Там же стоял и полковой обоз под командой отличного офицера Яблокова. Молдованов встретил меня обеспокоенный, сконфуженный, мало разговорчивый. Мы се-

ли за стол, я соединился со штабом дивизии, услышал встревоженный голос Гарфа:

— Начальник дивизии разрешает вам продолжить отпуск и советует в полк не возвращаться. Вероятно и я уеду, в войсках неспокойно.

Совет Генерала Гаврилова, моего непосредственного начальника, следовало понять как приказание и, считая что утро вечера мудренее, я лег спать.

Едва забрезжил рассвт, показался у меня в комнате перепуганный тот же Молдованов:

— Господин Полковник, писаря требуют, чтобы вы к ним вышли, они все собрались во дворе.

— Хорошо, передайте, что я оденусь и приду.

Сдерживая понятное волнение, я вышел к стоявшим плотной стеной солдатам и не здороваясь, боясь что не ответят, громко спросил:

— Вы хотели меня видеть, чтобы что сказать?

После минутного молчания, из задних рядов послышались угорожающие выкрики.

— Пусть один из вас скажет, что вы хотите и чем недовольны.

Все заорали; наконец выступил старший писарь по хозяйственной части и развязно начал:

— Вы, господин полковник (уже не Ваше Высокоблагородие) не жалели обозных, под обстрелом и днем и ночью их мучили, заставляя возить на позицию, сажали под арест, за всякую малость ставили под ружье... — и не помню в каких смертных грехах этот отъевшийся писарь меня обвинял.

Солдаты, видя что я пока молчу, осмелели и уже смотрели зверями, повторяя за каждой фразой их оратора:

— Правильно, правильно.

Когда писарь выдохся и замолчал, выступил второй и начал кричать:

— Вы все для ротных давали, им все можно было, и в отпуск пускали, а мы только и знай, что вози, да вози им на позицию, а как что, сейчас под ружье с полной укладкой.

А вокруг все больше и больше слышались угрожающие возгласы:

— Арестовать его, арестовать...

Чувствовалось, что большевизм уже пустил свои корни. Тогда начал говорить я.

— Мне оправдываться перед вами не в чем, так как я исполнял свой долг командира.

— Разве наш полк не был лучшим в дивизии, разве во время газовой атаки немцы взяли у нас хотя бы одного пленного? А что обозные ездили и днем и ночью на позицию, так это их прямая обязанность; за то ни они, ни писаря не сидели в грязи в окопах, покрытые вшами; ни один из вас не был убит, вас не травили газами. Вам должно быть известно, что офицеров я наказывал еще строже, чем простых солдат, за всякое упущение по службе; а без суровой дисциплины на войне любая воинская часть превратилась бы в простую толпу.

Большинство замолчало, только в задних рядах кто то пытался еще чем то грозить.

— Вы, я вижу, не хотите, чтоб я у вас остался командиром, так я и сам этого не желаю. А если кто хочет меня арестовать, так пусть попробует. Вы видели это?

И, вынув из бумажника фотографическую карточку, показываю и спрашиваю:

— А кто теперь Военный Министр, вам известно?

— Гучков, — отвечает писарь.

— Так вот вам Военный Министр, и с ним ваш командир рядом.

И обращаясь к стоявшему близко Молдованову, говорю:

— Прикажите Силке подать тройку, я уезжаю в штаб армии, а оттуда к военному министру.

Моя находчивость меня спасла. Будучи в феврале в Москве, узнав о сформировании Временного Правительства, где А. И. Гучков занял пост военного министра, я в силу какого то предчувствия, прихватил с собой открытку, где мы, будучи на Чаталдже в Турции, как то вместе снялись.

И вот, подобно Скобелеву, вышедшему под Геок-Тепе к текинцам без оружия и так их поразившему, что они сдались, а он сам потом говорил, что «дикарей надо бить по воображению»..., так и я простой фотографией почтенного Александра Ивановича Гучкова, привел в повиновение взбунтовавшуюся банду солдатни и уехал из своего, оставшегося навсегда в памяти, полка *.

---

* Среди множества пострадавших офицеров были и старшие начальники. В тот период начала революции, — я не говорю уже про большевиков, — вспоминается начальник соседней дивизии, болгарин по происхождению, спасавшийся в течение десяти дней в лесу от озверевшей солдатчины.

По дороге в Москву, я заехал проститься в штаб с Поповым и генерал-квартирмейстером Иваном Павловичем Романовским, — тем самым Романовским, что провел с Деникиным всю гражданскую войну.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Скажу откровенно, я с отвращением воспринял российскую революцию, с самого начала больно ударившую меня бунтом моих же солдат, русских солдат, которых я с самых юных лет, еще будучи кадетом, так любил; а молодым Подпоручиком устраивал солдатские спектакли, со своими писарями встречал Новый Год, вместо того, чтобы танцовать в офицерском собрании; на войне показывал пример презрения к пулям и снарядам неприятеля.

Будь я арривистом, зная А. И. Гучкова, и по Туркестану всю семью Керенского, возможно, мог бы в этот смутный период пролезть на более ответственные посты, окрасившись в революционера. Но я предпочел ни у кого и ничего не просить и, как оказалось в итоге прожитой жизни, от этого только выиграл.

Покинув свой Лебединский полк, пробыв недолго в Москве, я отправился в Житомир к Брусилову.

Генерал встретил меня более чем любезно, пригласил завтракать в свой вагон, и тотчас написал в Ставку генералу Алексееву представление о моем переводе в Генеральный Штаб.

Перевод очень быстро состоялся, с назначением начальником штаба дивизии в сибирском корпусе, на австрийском фронте.

Согласно только что изданного закона, офицеры Генерального Штаба, откомандовавшие полками, за неимением генеральских вакансий, получали права и соответствующий денежный оклад бригадного генерала. Таким бригадным генералом в полковничьем чине, я и прибыл утром, в один из дней конца марта, в сибирскую дивизию.

В штабе никого не оказалось на лицо; два адъютанта и сам начальник дивизии, генерал Савельев, ушли на солдатский митинг. Пришлось итти туда и мне, в поле, где этот митинг происходил. Здесь я представился Савельеву, отнесшемуся с полным безразличием к моему появлению.

Митинг этот был первый и единственный, который я невольно увидел; ни на какие другие никогда в жизни больше не ходил.

Кругом стояла плотной стеной толпа, — строевые солдаты, штабные писаря, денщики, музыканты. На высоком помосте кривлялся и истошным голосом лаял какой то мозглявый солдатишка:

— Николашка, довольно попил нашей кровушки, товарищи.

— Правильно, правильно, — вторила толпа.

А ближайшие, ухмыляясь и сплевывая семечки, оглядывали, не без ехидства, близ стоящее начальство: «Что, мол, видали какие мы стали важные и «сознательные».

— Вот теперь и сидит, арестованный товарищем Керенским, кровопийца царь во своих дворцах, — беснуется на помосте солдат; — не то еще будет.

— Правильно, правильно, — ревут в ответ.

Савельев молчит, не смея произнести ни слова, слушая, как поносят его Государя, боясь уйти с этого позорища.

Следующий прохвост, за ним несколько других, лезут по очереди на помост и орут всякий вздор, матерятся и бесчестят своего царя.

— Чорт знает куда меня занесло, — была первая мысль, когда мы вернулись с митинга в Штаб.

— Ничего не поделаешь, — вздыхал Савельев; — все еще шло кое как, а тут на днях вышел этот идиотский приказ № I Гучкова *, и солдаты делают, что хотят.

Уже много позже понял почтенный Александр Иванович какое зло он принес русской армии этим знаменитым приказом. Но ничего исправить было нельзя, и все последующие уговоры нового военного министра Керенского, призывавшего революционные войка к геройским подвигам, никакой цели не достигли. Солдаты драться не желали, братались открыто с немцами, выгоняли или просто убивали своих же офицеров, сдавались охотно в плен, и требовали «литературу», которую больше крутили для махорки, чем читали.

---

* Автором приказа № I был некий Соколов, он же от него и сильно пострадал. Явившись как то на митинг, в районе Минска, он стал уговаривать солдат сражаться. Когда Соколов кончил говорить, к нему подошел «товарищ», снял с себя стальную каску, с маха надел ее на оратора и так дернул вниз, что повредил тому нос.

Кое какая дисциплина сохранилась еще в кавалерии, в некоторых ударных специальных частях и, как ни странно, в женских батальонах. Бабы подавали пример солдатам, и храбро шли в бой, неся большие потери.

Изъяв Гучкова, превратив себя в министра юстиции и министра военного, Александр Федорович Керенский решил продолжать войну, оставаясь верным союзником Французов и Англичан.

Считалось, что революция в России потому и была необходима, что русский Император хотел якобы заключить сепаратный мир с немцами. Это серьезно думали и англичане, и их посол в Петербурге, печальной памяти Бьюкенен, приложил серьезно руку к развалу русского государства, приведшему к революции.

Пытаясь продолжать войну, Керенский разослал в войска пропагандистов, называвшихся отныне политическими комиссарами.

Такой комиссар прибыл однажды к нам в Галицию. Назывался он — Борис Савинков. Тот самый социал-революционер Савинков, что организовал убийства царских министров Сипягина и Плеве, и в Москве — Великого Князя Сергея Александровича, руками Каляева.

Самоуверенный, довольно надменный, Савинков тотчас же начал собирать солдат и своим придушенным, хриповатым голосом взывать к их патриотизму, к необходимости во имя революции продолжать войну. С митингов он возвращался в штаб дивизии довольно обескураженный и даже обозленный. Один раз его чуть ли не побили.

С Савинковым этим мне пришлось довольно близко познакомиться и неоднократно потом встречаться. Виделся я с ним на той же войне в июле 1917-го года в корпусе Врангеля, затем в Москве при большевиках и в 1918-ом году, когда он создал свою «Савинковскую» противобольшевистскую организацию, на социал-демократической платформе. Он жил в Москве у одной дамы, в ее квартире на пятом этаже, — на Собачьей площадке, смело ходил по улицам в желтых сапогах и черных очках, чтобы не быть узнанным.

Совершенно непонятно, как его тогда не арестовали.

Затея его кончилась Ярославским восстанием, кроваво подавленным большевиками, где тысячи офицеров погибли в боях и тюрьмах. Сам Савинков спасся, уехав в Польшу.

В 1920-ом году я его встретил в Варшаве, он жил в гостинице «Прага» и с неким генералом Пермикиным собирался

что-то делать в связи с армией Врангеля, занимавшей Крым.

В последний раз, это было в Париже в 1925-ом году или в 1926-ом, перед его отъездом в Россию, куда его заманили большевистские провокаторы, уверившие, что сильная подпольная организация только и ждет, чтоб он приехал и ее возглавил. Мы случайно встретились на больших бульварах и как старые знакомые мирно поговорили, но он ни словом не обмолвился, что уезжает в Россию.

Судьба старого революционера и автора «Конь Бледный» известна. Его сразу же арестовали на границе; засадили в тюрьму, и несмотря на все его заверения, что он будет верой и правдой служить большевикам, из тюрьмы не выпустили.

Тогда он выбросился из окна... или его выбросили.

* * *

В предвидении предстоящего генерального сражения на австрийском фронте в Галиции, солдат, подвиченных политическими комиссарами, необходимо было также вывести из состояния безделия и подготовить небольшими маневрами к предстоящей героической эпопее. Ничего, конечно, из этого не вышло, но попытки все же делались.

Боясь утомить долгими упражнениями разленившееся воинство, я предложил Савельеву выводить в поле на несколько часов полки дивизии, стоявшие в резерве, для тренировки, в виду предстоящих военных действий.

Савельев нехотя согласился, все поручил мне, а сам оставался у себя на квартире. Он отлично понимал, что затея эта не популярна среди солдат, предпочитавших спокойно есть, пить и ничего не делать.

В течение недели все шло как будто хорошо; солдаты выводились на маневры, наступали, стреляли, атаковали обозначенного противника. Но полковые комитеты, — тогда они уж были всюду сформированы по всем инстанциям от роты до армии включительно, — эти комитеты сибирской дивизии решительно восстали против всяких «воинских упражнений», автором которых считали нового начальника штаба.

И в один прекрасный день вернее ночь ближайший полк решил арестовать весь штаб и за одно прихватить Савельева.

В это время при дивизии, в качестве конной команды разведчиков, находилось около 30 кавалеристов, все латыши, с поручиком — тоже латышем.

Была ночь. Мы все спали; трое офицеров штаба в одном доме, я отдельно — в другом.

Прибегает перепуганный мой денщик Молчанов, трясет и от страху едва произносит:

— Ваше Высокоблагородие, пехота наступает на наш штаб, уже цепи близко.

Во мгновение ока одеваюсь, выхожу на двор, бросаюсь в соседнюю хату, где застаю поручика латыша и его солдат, и отдаю приказание:

— Немедленно вышлите три разъезда по пяти человек вперед против пехотных солдат, и, заняв перекрестки дорог, велите зарядить винтовки и никого близко к штабу не подпускать.

— Слушаюсь, господин полковник, будет исполнено.

Сам иду к своим офицерам, и прошу немедленно вставать, одеться и взять револьверы.

Никакого впечатления; и только старший адъютант по хозяйственной части Катценс, тоже латыш, приподнимаясь на кровати, говорит:

— Господин полковник, сдайте лучше мне ваш револьвер, нас тогда, быть может, и не тронут.

— Нет, револьвера я вам не отдам; можете лежать и спать.

Выхожу на двор, жду. Проходит час, другой, начинает светать; возвращается мой латыш и смеясь рассказывает:

— Увидели нас пехотные солдаты, остановились и спрашивают: «Чего вы тут стоите с кавалерией, какую сволочь охраняете, штабных?» — потом стали ругаться, а затем ушли.

Утром стало известно, что присутствие «сильной кавалерии» так подействовало на воображение пехоты, что она не осмелилась произвести намеченную атаку и отошла в «исходное положение».

Катценс чувствовал себя как бы оплеванным, Савельев, — сильно напуганным и, боясь повторения, предложил мне лучше уехать из его дивизии.

Этот латыш Катценс, сделавшись после моего отъезда и. д. начальника штаба у Савельева, по окончании войны, когда образовалось латвийское независимое государство, во главе с президентом Ульманисом, занимал долгие годы ответственный пост в министерстве финансов. В 1930-ом году он приезжал из Риги в Париж, для заключения какого-то торгового договора с Францией завтракал у меня, и был полон важности, сознавая значительность своего материального и общественного положения. Весьма вероятно, что после ликви-

дации большевиками в 1940-ом году Латвии, бедный Катценс, вместе с президентом республики, закончил свой жизненный путь на сибирских рудниках, где нибудь в Колыме.

Довольный, что мне не придется больше оставаться в среде распропагандированных сибирских стрелков, считавшихся в течение всей войны лучшими и наиболее стойкими войсками, я в тот же день уехал в штаб 7-ой армии.

В армии, примерно в то же время, произошло столь же неприятное событие. Командующий, генерал Белькович, вздумал подбодрить войска, в виду предполагаемого, инициативой Керенского, наступления, обращаясь с зажигательными речами к солдатам, и на одном таком митинге был осыпан бранью.

Пришлось оставить командование и уйти.

Назначенный на его место генерал Селивачев, мало представительный, небольшого роста, с длинной бородой и плешивой головой в форме бухарской дыни, оказался более на месте, и с тактом и осторожностью, без всяких митингов, привел распущенные революционные войска к некоторому повиновению.

Не взирая на это, и несмотря на личное присутствие министра Керенского перед началом генерального наступления, все окончилось ничем. Корпуса Скоропадского и Маркодеева сбили австрийцев с их позиций, но далеко не пошли и остановились.

И только генералу Корнилову, командовавшему одной из армий, удалось продвинуться километров на 70, до города Калуша, в той же Галиции, благодаря сформированным тем же Корниловым ударным частям.

Это был единственный успех за весь революционный период на фронте российских армий, и Корнилов, по заслугам, получил сперва фронт, а затем сменил на посту Верховного Главнокомандующего Брусилова.

***

Пробыв сравнительно недолго в штабе 7-ой армии, в мае того же 1917-го года я наконец получил новое назначение. Открылась свободная вакансия в кавалерии — в 7-ой кавалерийской дивизии — в Галиции, куда я тотчас и отправился. Командовал ею полковник Зыков, ожидавший со дня на день производства в генералы.

Отличный строевой офицер, сильный, здоровый, всегда жизнерадостный, Сергей Петрович Зыков, командуя Текинским полком, с которым ходил в коннные атаки, получил за храбрость два георгиевских креста и был вполне на своем месте. Встретил он меня весело, с удовольствием и, узнав о моей службе в кавалерии Новикова, в начале войны, принял как своего боевого товарища.

Повоевали, однако, с ним мы недолго; наступали, отступали, но ни в каких серьезных передрягах не участвовали.

И вот недели через две, совершенно неожиданно, когда мы вечером сидели, ужинали, Зыков пил водку и подпевал себе под нос «Боже Царя храни», на пороге появился высоченного роста, худой, загорелый генерал, осмотрелся, увидел Зыкова, и прямо к нему:

— А это ты, Сережа, здравствуй, рад тебя видеть; ну, как дела, воюешь?

Обнялись, и Зыков, приятно удивленный, спрашивает:

— Ты отчего приехал?

— Как, разве ты не знаешь?

И генерал барон Врангель протягивает ему бумагу:

— Вот назначение мое — начальником 7-ой кавалерийской дивизии.

Вся краска с полнокровного лица Зыкова исчезла и моментально сменилась бледностью.

— Быть не может; что же я буду делать? — чуть слышно произносит Зыков.

— Ты останешься командиром бригады, — спокойно замечает Врангель, — будем вместе служить.

На следующий же день полковник Зыков, объявив себя больным, покинул дивизию, и Врангель принялся наводить порядки, ни мало не огорчаясь отъездом своего старого приятеля.

В первую голову был взят в оборот дивизионный интендант, в действиях которого было найдено бесконечное число недочетов. Затем посыпались рапорты в штаб армии с различными просьбами, оставленными без всякого ответа, ибо как раз в это время обозначился отход по всему фронту революционного воинства, и кавалерийские части выполняли роль арьергардов, как более стойкие.

Воинство, главным образом пехота, сдерживаемая своими офицерами, в начале отступало как будто с боями, а затем просто пустилось бежать, бросая ружья. Пехота, труд-

но поверить, делала переходы по 60 верст в сутки, лишь бы скорее добраться до русской границы.

На кавалерию выпала тяжелая задача и она храбро сражалась, сдерживая наседавшего противника.

Отступая, солдаты грабили и жгли все, что им попадалось под руку, свое и чужое. Горели склады, деревни, стога сена, а в городах поджигались без всякого смысла целые дома.

Как то ночью штаб дивизии остановился в австрийском городе Станиславове, через который проходили отставшие пехотные группы. Врангель, я, полковник Зыков — он скоро вернулся, — примиренный со своей судьбой — стояли на улице и наблюдали. Вдруг видим, как из толпы этих отсталых выделяется несколько солдат и, проходя мимо громадного пятиэтажного дома, с магазинами внизу, ломают прикладами витрину, лезут внутрь и пытаются поджечь товары.

Врангель и Зыков немедленно кидаются туда же и начинают избивать всю эту сволочь; Врангель — нагайкой. Зыков — кулаками. Ошеломленные поджигатели, не пытались даже защищаться против двух храбрых офицеров, и едва унесли ноги.

Атлет Зыков, бравший в офицерской фехтовальной школе императорские призы, считавшийся чемпионом бокса и французской борьбы, не стесняясь говорил, что он простым ударом уложил на месте одного из поджигателей и совершенно об этом не жалеет.

***

В течение двух-трех недель конца июля и начала августа, до окончательного отхода русских революционных войск к границе Империи за реки Стоход и Збруч, куда не пошли ни австрийцы, ни немцы, 7-ая дивизия вела удачные бои, сдерживая противника.

Наблюдая в течение ежедневных боев, Врангеля, я невольно его сравнивал с другим, — генералом Новиковым, и сравнение не было в пользу последнего.

Врангель, очень храбрый и самостоятельный, в сущности, не нуждался в начальнике штаба; он все решал сам. Иногда только спрашивал мое мнение; отдавал лично приказания, носился галопом в течение дня от одного полка дивизии к другому, но нередко упускал управление боем.



Генерал Барон П. Н. Врангель.

После окончания ростовской гимназии, а затем Горного Института, его потянуло на военную службу, и начал он ее в лейб-гвардии Конном полку эстандарт-юнкеров. Но как только началась японская война, он тотчас оставил этот блестящий полк и уехал на восток, в Сибирскую казачью дивизию. В Манчжурии получил несколько боевых наград и, вернувшись, поступил в Академию.

Окончив ее, был принят снова в Конный полк, отказался от Генерального штаба, считая, что в строю он сделает более блестящую карьеру. Одного только не рассчитал молодой ротмистр, — что служба в этом ультра-фешенебельном полку требовала довольно больших средств. Конно-гвардейцев можно было видеть на субботних французских спектаклях в Михайловском Императорском театре, в ресторанах Кюба, Донона, у Медведя, у цыган в «Самарканде». Отставать и жить конно-гвардейцу анахоретом было трудно, но судьба и здесь улыбнулась Врангелю, когда вскоре его матерьяльное положение изменилось к лучшему.

Теперь, барону Петру Николаевичу было легче водить компанию с богатой молодежью и пить свое излюбленное Piper Heidsick.

Пил он это шампанское с таким увлечением, что скоро в полку его самого прозвали «Пипер».

Получив одним из первых в начале войны Георгиевский крест в Восточной Пруссии, за конную атаку немецкой батареи, Врангель быстро пошел в гору, откомандовал полком, а затем бригадой Забайкальских казаков на Юго-Западном фронте.

И вот он уже начальник дивизии, с июня 1917-го года, затем — командующий конным корпусом на Румынском фронте, составленном из 7-ой дивизии и казачьей кавказской генерала Одинцова.

Служить с ним на войне было легко, но не всегда приятно, до того это был беспокойный человек. Он все время хотел что-то делать, не давал никому ни минуты покоя, даже в те дни, когда стоя неделями в резерве, делать было абсолютно нечего.

Только один раз у нас произошло небольшое столкновение и именно в период отхода из Галиции, когда приехал к нам пехотный прапорщик Гучков, экс-военный министр. Зачем он пожаловал — неизвестно, я думаю, что насмотревшись на бесчинства в пехоте, хотел увидеть, как обстоят дела в кавалерии.

В то время Врангель вел скрытно, даже от меня, большую тайную переписку с неким Завойко, в связи с намечаемым в некоторых кругах свержением временного правительства. Не думаю, что Гучков входил в эти планы, никакой крупной роли он уже не играл.

Недоразумение у нас произошло по поводу размещения на ночлег полков дивизии. Диктуя приказ, Врангель отводил казачьему полку стоянку в одной австрийской деревне. Днем мне пришлось в ней побывать; она обстреливалась дальним артиллерийским огнем и в ней находился громадный склад бензина.

Я указал Врангелю на всю опасность размещения людей в этой деревне. Он ничего не хотел слушать, упирая на то, что по близости не было ни одной свободной для постоя.

Я настаивал; присутствовал при этом Гучков. Барон рассердился:

— А я приказываю казачьему полку стать именно там на ночлег.

— Ваше Превосходительство можете отдать таковой приказ, но я его не подпишу.

— Мне все равно, — отвечает Врангель. Вот туда мы к вечеру поедем втроем, и я увижу как казаки будут размещены.

И поехали: он, Гучков и я в автомобиле. И не успели версты за две доехать до этого местечка, как раздался оглушительный взрыв, и к небу на тысячу метров взлетел огромнейший огненный шар. Мы просто замерли, сразу остановив машину, и почувствовав, даже на таком расстоянии, охвативший нас жар.

Ночью, вернувшись к себе, получили донесение, что убит был взрывом командир полка, много казаков и лошадей переранено и убито. Чувствуя свою вину, Врангель не вымолвил ни слова. Молчал и Гучков, покинувший нас на следующее утро.

***

Между тем падение дисциплины в войсках перед Корниловским выступлением настолько усилилось, что временное правительство всюду стало рассылать своих политических комиссаров, опасаясь, что солдаты вообще бросят оружие и разойдутся по домам.

К нам в корпус по очереди наезжали — сперва Савин-

ков, затем адвокат Филоненко, тот самый Максимилиан Филоненко, что в Париже, в период похищения генерала Миллера, при содействии продавшегося большевикам генерала Скоблина, защищал его жену Плевицкую.

Плевицкая в дореволюционной России пользовалась большим успехом, пела при Дворе, создала знаменитый романс: «Шумел, горел пожар московский»... но оправдана не была, и, приговоренная к пожизненной каторге, умерла незадолго до войны в тюрьме.

Филоненко этот приезжал в корпус Врангеля в связи с убийством солдатами их корпусного командира генерала С. Не помню, чем этот генерал им не понравился, но повидимому, чем то не угодил, и они, ворвавшись к нему ночью, закололи его штыками.

Филоненко обратился к Врангелю с просьбой немедленно послать если не всю дивизию, то хотя бы полк, усмирить эту пехоту и убийц арестовать. Однако дивизионный и полковые комитеты 7-ой кавалерийской дивизии категорически высказались против всякой посылки кавалерии, указывая, что это создаст серьезный конфликт между двумя родами оружия.

Кавалерия не пошла, и Филоненко ни с чем уехал.

Познакомились мы, после Филоненки, еще с одним армейским комиссаром. Не помню зачем он к нам пожаловал, — кажется, сменил в должности предыдущего, приехал познакомиться и, потолкавшись недолго, уехал. Это был небольшого роста грузин, с типичной грузинской фамилией Берия, возможно родственник знаменитого чекиста, выведенного в расход Никитой Хрущевым.



Бессилие временного правительства привести к порядку революционные войска ясно сознавалось в офицерских кругах. Это было резко и без всяких экивоков высказано генералом Корниловым на московском съезде, и скоро привело к открытому разрыву между военным командованием и временным правительством премьера Керенского.

Вернувшись из Москвы в Могилев, где находилась Ставка, 24-го августа Корнилов послал телеграфный приказ всем армиям российского фронта подчиняться впредь только ему, в целях более успешного ведения войны.

Из штабов армий полный текст телеграммы Главноко-

мандующего тотчас же по телеграфу Морзе был передан в корпуса и дивизии.

На следующий день из Петербурга в войска поступила вторая телеграмма, на этот раз от Керенского:

«Считаю выступление генерала Корнилова контр-революционным, предписываю приказаний его не исполнять, отрешаю его от должности, и принимаю на себя Верховное командование. Телеграмму Корнилова немедленно изъять из всех частей.»

Следствием этого конфликта явилась полная растерянность командного состава. Одни начальники решили итти за Корниловым, другие, боясь за свою карьеру и даже за жизнь, от Корнилова отреклись, более осторожные предпочитали выжидать.

Но тут заработали политические всех сортов комитеты, определенно почти везде высказывавшиеся за Керенского.

В 7-ой кавалерийской дивизии председателем такого комитета состоял штабс-ротмистр Натанзон, сын военного врача еврея, перешедшего в православие, человек чрезвычайно смелый и пользовавшейся большой популярностью среди солдат, за свое редкое мужество на войне.

Поэтому 7-ая кавалерийская дивизия к призыву Керенского отнеслась довольно безразлично, и мы решили подчиниться только Корнилову. Чувствуя колебания старших начальников, Врангель снесся с соседним начальником кавалерийской дивизии Маннергеймом, будущим Финляндским президентом и главнокомандующим, и предложил арестовать двух командующих армиями.

Он, Врангель, брал на себя задачу арестовать нерешительного командующего 8-ой армии, Соковнина, куда входила 7-ая кавалерийская дивизия, а Маннергейму предлагал сделать то же с генералом Кельчевским командующим 9-ой армией.

Ничего, однако, из этого не вышло; Маннергейм холодно, как полагалось финну, отнесся к затее Врангеля, а сам барон скоро удостоился визита комитетчиков, узнавших, что пресловутая корниловская телеграмма задерживается в нашей дивизии.

***

В тот день, 25-го или 26-го августа Белорусский гусарский полк праздновал свой полковой праздник, куда был приглашен и Врангель.

Я оставался в штабе. И вот около часа дня на автомобиле подъезжает группа человек в восемь солдат к нашему дому.

— Мы — депутаты из армейского комитета, — говорит один солдат, выходя из автомобиля, — и приехали за телеграммой Корнилова. Где она у вас? Давайте ее.

Вылезают и прочие, закуривают, держат себя очень непринужденно, рассаживаются без приглашения.

Отвечаю им:

— Телеграмма может быть выдана только по приказанию командира корпуса генерала Врангеля.

— А где ваш Врангель?

— На завтраке у гусар, на полковом празднике. Идите туда и спросите. Если прикажет, я вам телеграмму выдам.

Один из солдат отправляется и вскоре приходит обратно:

— Врангель сказал, что у него телеграммы нет.

— Совершенно верно, но мне нужен приказ командира корпуса, чтобы ее выдать.

Солдаты начинают, что называется, «шуметь», и к Врангелю идет другой в собрание, где играют трубачи и веселятся офицеры-гусары.

Продолжается та же комедия: Врангель, не желая расставаться с Корниловской телеграммой, всячески увиливает, и велит передать, что у него нет телеграммы, а я отказываюсь ее им отдать.

Тогда старший комитетчик грозит нас обоих арестовать — Врангеля и меня.

Понимая, что дело может принять неприятный оборот, посылаю за председателем дивизионного комитета штабс-ротмистром Натанзоном и объясняю ему в чем дело.

Обозленный, что ему не дали как следует поесть и попить со своими офицерами на их полковом празднике, Натанзон сразу накидывается на первого, кого увидел из комитетчиков:

— Мандат!

— Чаво? — не понимает солдат.

— Мандат! —повысив голос повторяет Натанзон.

Солдат балдеет, краснеет и, вылупив глаза, к своим:

— Товарищи, чево это он говорит, какая манда?

Кругом слышится смех; всем делается весело при виде этого полуграмотного болвана. И Натанзон начинает издеваться:

— Как же это вас, товарищ, выбрали в армейский комитет, когда вы не знаете, что такое мандат? Это совсем не то, что вы думаете. Попросите председателя, он вам разъяснит.

Телеграмму, в конце-концов, пришлось отдать.

Врангель понял, что очень рискует, если ее задержит.

Натанзон показал себя героем позже в Киеве после того, как в 1919-ом году гетман Скоропадский бежал оттуда в Германию и большевики входили в город. Среди офицеров, защищавших Киев, погиб на баррикадах смертью храбрых штабс-ротмистр Белорусского Гусарского полка Натанзон.

История с телеграммой Корнилова получила, очевидно, огласку, и позиция Врангеля сделалась настолько непрочной, что вызванный вскоре к Главнокомандующему Румынским фронтом Щербачеву, он был отчислен от командования корпусом; самый корпус был расформирован и обе дивизии сделались самостоятельными.

Будучи старшим, я вступил в командование 7-ой кавалерийской, с производством в генерал-майоры, со старшинством с 6-го декабря 1916-го года.

Покидая нас, Врангель дал мне весьма лестную аттестацию.

К этой аттестации позже, в Добровольческой армии в Екатеринодаре, Врангель собственноручно сделал приписку:

«В дополнение к вышеизложенному могу добавить, что пережил вместе с генералом Дрейером тяжелые дни конца августа 1917-го года — в эти дни генерал Дрейер проявил полное гражданское мужество и непоколебимую твердость.»

Генерал-лейтенант барон Врангель. 28 апреля 1919 года.

Оставшись не у дел, Врангель уехал в Крым в имение своей жены, а после прихода к власти большевиков, занявших Крым, скрывался у приятелей татар, рискуя своей и их жизнью.

Но едва только, после Брест-Литовского мира, Крым заняли немцы, Врангель немедленно уехал на Кавказ, в Добровольческую армию.

***

Приняв 7-ую кавалерийскую дивизию, ни в каких военных действиях я уже больше не участвовал. Дивизия спокойно стояла в резерве Румынского фронта. Здесь у румын, еще сохранилась дисциплина.

В начале октября мне пришлось, по делам службы, побывать в Яссах, где стоял штаб, жил генерал Щербачев и вся Королевская семья.

Там я увидел своего помощника начала войны, Мельчакова, уже в чине подполковника, состоявшего штаб-офицером для поручений при Главнокомандующем.

Встретились мы с ним очень сердечно, я не мог забыть насколько он был мне полезен в ответственной штабной работе в корпусе Новикова.

После завтрака у Главнокомандующего, куда я был приглашен, у меня оставался еще целый свободный день. Прогуливаясь по городу, я случайно встретил на улице генерала Вирановского.

Мы с ним познакомились еще в Одессе в 1914-ом году, когда я отбывал в 15-ом полку, у полковника Сухих, батальонный ценз, а Вирановский в то время командовал 16-ым, в той же стрелковой бригаде.

Это был блестящий во всех отношениях человек. Офицер Генерального Штаба, прекрасно образованный, остроумный, очень видный, красивый, храбрый; он отлично командовал на войне полком, за что получил два Георгиевских креста и два генеральских чина.

В начале революции Вирановский состоял уже в должности начальника штаба румынского фронта, у генерала Щербачева. В Яссах король Фердинанд играл больше декоративную роль.

Если у моего командира в Одессе, флигель-адъютанта Его Величества полковника Сухих, было некоторое пристрастие к отечественной «очищенной», то генерал-лейтенант Георгий Николаевич Вирановский страдал тем, что равнодушно не мог видеть ни одной хорошенькой женщины. Из-за одной из них Щербачев вынужден был, в один прекрасный день, на его место пригласить генерала Геруа.

Все произошло чрезвычайно глупо, и очень не элегантно.

Однажды ночью румынский патруль, проходя по довольно пустынной темной улице, увидел что в окно углового дома старается влезть какая-то фигура.

Думая, что это грабитель, патруль бросился к фигуре и стащил ее на тротуар, собираясь арестовать.

Каково же было удивление румын, когда перед ними предстал в генеральской форме сам начальник штаба их Короля, генерал Вирановский.

Потушить скандал было трудно, в Яссах об этом узнали,

и ходоку по дамской части дали другой пост. Это сообщил мне полковник Мельчаков, состоявший в штабе генерала Щербачева.

Увидя меня, Вирановский чрезвычайно обрадовался, — я не был его подчиненным, — и он свободно мог мне говорить про свою службу и рассказывать все возможные пикантные истории.

— Вы надолго здесь? — спрашивает наконец Вирановский.

— Нет, на один день, завтра собираюсь уезжать.

— Значит вечером свободны; вот и отлично, пойдем вместе с визитом к генеральше Х., — какая красивая женщина!

Вижу, что ясский дон-жуан не успокоился:

— Хорошо, пойдем, я ее знал еще в Люблине; но удобно-ли итти без приглашения?

— Какие же церемонии во время войны? Ерунда.

— А если напоремся на мужа?

— Не напоремся, он до поздней ночи сидит в штабе.

Отправляемся, звоним, долго никто не отворяет, наконец появляется денщик.

— Барыня дома? — спрашивает Вирановский.

— Не могу знать, пойду узнаю.

Ждем у подъезда. Снова денщик:

— Пожалуйте, они сейчас.

Минут через десять входит полусонная, непричесанная госпожа Х., смотрит на нас с удивлением и без видимого удовольствия. Вирановский что то бормочет, что зашли случайно «на огонек»; хотя никакого огонька в темных окнах не было и в помине.

Видя что от незванных гостей скоро не отделаешься, хозяйка приглашает в столовую пить чай. Разговор не клеится, генеральша, видимо, чем то озабочена.

Вдруг раздается детский плач, и из соседней комнаты выскакивает молодой офицер, смотрит с удивлением на нас, кланяется и бежит на крик; за ним вслед кидается генеральша; в спальне слышится сперва шопот, а затем довольно громкий спор.

— Влипли, — говорю Вирановскому, — давайте прощаться.

И ушли сконфуженные, подсмотрев чужую семейную тай-

ну, боясь взглянуть в заплаканные глаза, провожавшей нас до передней, хозяйки дома.

В последний раз я видел Вирановского чрез год в Одессе; как и многие он был уже эмигрантом, бежав от большевиков, но все тот же видный, элегантный, не спускавший глаз с красивых женщин.

Говорят, что ему удалось перебраться в Сибирь, там он и умер.



В конце октября 1917-го года, когда произошел большевицкий переворот, неожиданно явился Зыков, уже в генеральском чине. Я немедленно передал ему дивизию, а сам уехал в Москву, где в это время шла пушечная стрельба, и юнкера Алксандровского училища сражались с большевиками.

Зыков пробыл в дивизии недолго. В конце ноября он снова как то запел «Боже Царя храни»; об этом узнали солдаты, немедлено приговорили его к повешению, и только случайно ему удалось бежать, бросив дивизию, которой он так стремился командовать.

МОСКВА. БОЛЬШЕВИКИ

Вот я и в Москве, без службы, без жалованья, выброшенный революционной волной на произвол судьбы, с женой, матерью и двумя маленькими детьми. Живи как хочешь, устраивайся как хочешь.

Продолжать военную службу можно было только в создаваемой Троцким Красной армии, или в штабе Муралова, командующего Московским военным округом. Прежде Муралов, простой солдат, был шофером у генерала Мрозовского, занимавшего этот высокий пост, а теперь бывший шофер мог бы сам предложить Мрозовскому сесть за руль его автомобиля.

Многие офицеры пошли служить, чтоб не умереть с голоду; другие бежали на юг, где создавалась на Дону Добровольческая Армия; часть поступила в тайные организации, скоро ликвидированные большевиками. Многие оказались арестованными, особенно после покушения на Ленина, и были расстреляны.

Москва в ту зиму представляла жуткую картину. Все хуже и хуже обстояло дело с продовольствием, особенно с хлебом; развилось мешечничество. Люди в мороз, на крышах вагонов, ездили на Волгу, откуда привозили муку, по дороге многие замерзали, а по приезде рисковали, что милиционеры у них все отберут на улице.

Десятки тысяч солдат, дезертировавшие с фронта, разнузданные, оборванные, голодные, наполнили Москву, грабили, ночью нападали. Грабежи были настолько обычным явлением, что прилично одетые люди, особенно женщины, не рисковали выходить на улицу с наступлением темноты. С прохожих снимали шубы, часы, обирали до нитки; они тщетно кричали: «караул, грабят», — никто не пытался заступиться, милиция была бессильна.

В нашем районе, на Патриарших Прудах, жители целого квартала объединились и в складчину наняли караульщиков за небольшую плату, в большинстве офицеров, которые всю ночь несли сторожевую службу.

С декабря начались повальные обыски и аресты. Искали оружия по квартирам, отбирали револьверы и ружья, до охотничьих включительно. Как то во время моего отсутствия, моя мать, испугавшись, отдала им мой парабеллум и даже мою великолепную саблю, в золоченых ножнах, украшенную цветными камнями, подарок Энвер-паши в Адрианополе, во время второй Балканской войны.

Моя жена не смущаясь, отправилась на следующий же день к Муралову, принявшему ее очень любезно, и просила вернуть револьвер, говоря, что он необходим ее мужу, для несения охраны ночью.

— А на какой платформе стоит ваш муж? — полюбопытствовал командующий округом бывший шофер.

— Ни на какой, — ответила жена, — он военный, и понятия не имеет о платформах.

Муралов. cavalier galant, не посмел отказать даме; позвонил, и приказал адъютанту отыскать мой парабеллум и немедленно выдать.

В период генеральной чистки сподвижников Ленина — матерых большевиков: Каменева, Зиновьева, Пятакова и других, чекист Ягода, при содействии почтенного Андрея Януариевича Вышинского, прихватил за одно и Муралова, и также расстрелял.

До покушения на Ленина, аресты производились по спискам, куда прежде всего вошли чины полиции и жан-

дармские офицеры. Они сразу начали скрываться, но их все же вылавливали и расстреливали.

Один мой знакомый полковник, железнодорожный жандарм, не чувствуя за собой никакой вины, продолжал оставаться на своей квартире. К нему пришли, арестовали и приговорили к расстрелу.

У следователя он спросил:

— За что же вы меня хотите казнить? Я никогда никому не сделал ни малейшего зла.

— Вы были верным слугой старого режима, и этого достаточно, — последовал ответ.

После ликвидации тайной организации Савинкова, и особенно после покушения на Ленина, аресты и расстрелы в Москве производились чекистами более научным способом:

Был издан приказ: всем офицерам без исключения, явиться для регистрации в свои комиссариаты.

Я долго колебался — итти или нет; никто тогда не думал, чем это кончится, но я все же не пошел, и хорошо сделал.

Из 12 тысяч, находившихся в то время в Москве, явилось около девяти тысяч. Все они были немедленно отведены в тюрьмы и большинство расстреляно. Расстреливали в Петровском Парке, куда ночью отвозили на грузовиках, или в подвалах Лубянки.

Через два дня, мой приятель, капитан конной артиллерии Шафонский, поступивший в штаб округа, предупредил меня, что видел список офицеров, где стояла и моя фамилия, и посоветовал скрыться.

В течение двух-трех недель я не ночевал дома, уходил к кому либо из знакомых, пускавших к себе без всякого энтузиазма.

Не думаю, чтоб это был проскрипционный список, так как на квартиру к нам никто не появился. Тем не менее чувствовалось, что в Москве лучше не сидеть. Уйти одному было не трудно; многие бежали в Крым, на Дон или на Кавказ. Не желая расставаться с семьей, сделал попытку сойти за украинца и уехать легально в Киев, где правил гетман Павло Скоропадский, поддерживаемый немецкими штыками.

В Москве, — это было летом 1918-го года — самостийная Украина открыла свое консульство, для выдачи паспортов — «посвидчения» — уроженцам этого края.

Консул Кривцов, которому я довольно смело отрекомендовался как украинец, не без иронии заметил:

— Какой же вы украинец с вашей немецкой фамилей? Вы вероятно и ни слова не балакаете на нашем языке. Вас будут на границе допрашивать не по русски, и выйдут неприятности для меня и для вас.

— Як же не балакаю, — отвечаю и, не теряясь, стал фантазировать: — Моя фамилия была с детства Мартын Боруля, и в Полтавском Корпусе и в Павловском Училище; и только в Академии, с Высочайшего соизволения переменил на фамилию моей матери. — И чтобы окончательно убедить Кривцова что я украинец, начал речитативом:

— Менэ уродыли, имя мини далы, а як окрестыли, то пипы прышлы; о се я Ерема, а-а-а.»

Консул начал улыбаться, не веря ни одному слову. А я снова:

«И шуме и гуде, дрибный дождык иде, а кто ж мою Марусеньку тай до дому доведе.»

Кривцов и его секретарь не могли удержаться от смеха.

— Ну, дайте генералу посвидчение, — приказал он.

Выдали мне, жене, двум детям и даже няньке.

Вот благодаря моему «знанию» украинского языка я вышел победителем из Консульства Украинской Рады.

До сих пор вспоминаю этого благородного человека; ему я обязан быть может жизнью.

І-го сентября мы сели в украинский специальный поезд, по счету второй, составленный из товарных вагонов, и двинулись в путь через Смоленск на Оршу, занятую немцами. Ехали долго, дней 10, останавливаясь часами на каждой станции и подвергаясь обыскам. В один из таковых у меня нашли золотую бухарскую звезду, серебряную — Меджидие — и отобрали. Один из пассажиров капитан артиллерии, страдая манией преследования, в самой Орше бросился под вагон, не выдержав нравственного напряжения.

Едва только поезд прошел шлагбаум, отделявший большевицкую Р. С. Ф. С. Р. от окупационной немецкой зоны, по всем вагонам пронеслось дружное ура, многие плакали, обнимались друг с другом, махали платками немецким солдатам в стальных касках, как своим избавителям, и, сойдя на землю, задаривали их папиросами и деньгами.

Через месяц был пущен еще поезд, третий и последний. Но до Орши он дошел полупустой. Дорогой чекисты высадили часть пассажиров и арестовали; всех обобрали до нит-

ки; многие, во время остановок на станциях, бежали. Среди бежавших находился мой приятель и сослуживец по Вильне, генерал Кондратьев, добравшийся позже до Добровольческой армии.

Не повезло и консулу Кривцову. Этот доброжелательный и обязательный человек был уличен большевиками и тотчас же, после ликвидации самостийной Украины расстрелян в Москве.

В МОСКВЕ, ДО ОТЪЕЗДА В КРЫМ

За время моего десятимесячного пребывания в Москве при большевиках, два события невольно встают в памяти.

В самом начале прихода к власти новое правительство прежде всего озаботилось прикарманить все деньги, где бы у кого бы они ни находились.

Закрыли все банки, запечатали сейфы. Очередь стояла за ломбардами. Успев, неизвестно по какому предчувствию, взять из сейфа Московского банка братьев Рябушинских, накануне его закрытия, ценное кольцо моей жены, на следующий же день я отправился в Государственный ломбард, где хранилась моя турецкая сабля. Совершенно но подумав, — это было в ноябре зимой 1917 года — одел свое генеральское пальто с красной подкладкой и с погонами, пришел в ломбард, взял свое оружие на кавказской портупее, одел на себя и не спеша вышел на прогулку.

Видя вокруг удивленные взгляды публики, я понял какую неосторожность сделал, и чуть не бегом пустился домой.

По дороге натыкаюсь на старого знакомого Менжинского, бледного, расстроенного, в помятой офицерской фуражке. Смотрит на меня, здоровается и шепчет:

— Вы съума сошли. Видите — как меня отрапортовали: а вы даже не сняли погон, нацепили шашку, и еще — красные отвороты на пальто.

— Не подумал, чорт возьми, авось сойдет. А что с вами произошло? — спрашиваю Менжинского.

— Увидел меня на Сретенском бульваре пьяный матрос, остановил, начал ругать, собрались любопытные:

— Ты, — говорит, — ... твою мать, все еще с кокардой шляешься, я тебе ее вобью в твою офицерскую башку.

— Вытащил револьвер и — по лбу. Не помню, как я от него спасся.

Ковенской крепостной артиллерии капитан Менжинский, однофамилец, но не родственник знаменитого чекиста — морфиниста Менжинского, был известен в мирное время во всем городе, как азартный игрок в карты, соривший деньгами при выигрыше, великолепно одевавшийся, не носивший никогда больше недели одной и той же фуражки, — это была его слабость, — державший собственный выезд. В период невезения он все спускал, чуть ли ни до последней рубашки. Это благодаря ему, будучи однажды в Ковне, в какой то командировке из штаба Ренненкампфа, я познакомился в крепостном собрании с владельцем завода Тильманом. После ужина, целой компанией офицеров, вместе с Тильманом, мы засели за карты, в макао, и играли до утра. Никто тогда и не подозревал, что этот симпатичный немец давал, вместе с германским консулом, подробные сведения о состоянии Ковенской крепости немецкому генеральному штабу.

Другой эпизод произошел на московской квартире весной 1918-го года.

Вечером собрались у меня четыре офицера Генерального Штаба, для обсуждения политического положения, в связи с намечавшимся выступлением Савинковской организации; здесь были: генерал Довгир, и полковники: Лукьянов, Достовалов, и Калинин.

Вдруг раздался звонок у парадной двери. Все почувствовали себя не хорошо. Звонок повторился. Я тотчас увел всех четырех в свою спальную комнату и попросил мать пойти открыть дверь.

Вместо этого, сделав несколько шагов, она вдруг перепугалась и, дрожа от страха, буквально села на пол.

Пошла моя жена. Отворяет и видит перед собой увешенного патронами, с револьвером за поясом, какого то неизнакомца.

— Что вам угодно? — спрашивает жена.

— Я хочу видеть товарища генерала.

— По какому поводу?

— Я от товарища Троцкого.

— Пройдите в гостиную, — приглашает жена.

Увидя меня, протягивает руку и сразу начинает:

— Пришел к вам по поручению Военного комиссара товарища Троцкого. Сейчас формируется армия для борьбы

против немцев, занявших Ростов, и против «кадет» на Кубани; там с ними уже сражаются Сорокин и Автономов. Товарищ Троцкий предлагает вам принять командование этой армией, а меня желает сделать в ней политическим комиссаром.

— Дайте подумать, — отвечаю ему. — Предложение слишком неожиданное и весьма лестное, но я не хотел бы принимать участие в гражданской войне.

— Так я зайду еще раз, — прощаясь произносит будущий армейский комиссар, — надеюсь, что будем вместе работать.

После ухода этого «джентельмена», я долго ломал себе голову чтобы понять, почему это Троцкий, которого я никогда в жизни не видел, вздумал оказать мне такую честь. Наконец вспомнил, что мой товарищ по выпуску из Академии, генерал Балтийский, исполняет роль военного советника при создателе красной армии Троцком и его помощнике Склянском, — в недавнем прошлом военном враче.

Очевидно, Балтийский и рекомендовал меня.

Визит будущего комиссара кавказской большевицкой армии через неделю повторился.

Снова звонок. Опять перепуганные на смерть мать и жена идут отворить дверь.

Обвешанный, как и в первый раз оружием и патронами, молодой чловек любезно здоровается и немедленно приступает к делу, выражая уверенность, что я все обдумал, взвесил, и что он заранее уверен в успехе.

— Если вы не настаиваете на том, что формируемая армия должна сражаться и с кадетами, как вы их называете, — отвечаю ему, — а только с немцами, я предложение принимаю.

— В чем дело? Вы будете жалеть эту сволочь, этих белогвардейцев?

— Среди этих белогвардейцев находится немало моих товарищей и друзей и воевать против них я ни в коем случае не согласен.

— Почему не согласны? Ведь они теперь контр-революционеры их все равно скоро ликвидируют до одного.

— Возможно, — отвечаю, — но не при моем участии.

Он долго еще пытается меня убедить; при разговоре присутствует жена; наконец, предъявляет свой главный козырь:

— Я забыл сказать, что 20 миллионов золотом дается в ваше распоряжение: надеюсь, что вы теперь согласны.

— Нет, решение мое твердо — участвовать в гражданской войне не могу и не хочу.

Обозленный и обескураженный комиссар встал и, не подавая руки, вышел.

Армия была поручена генералу Снесареву.

Снесарева я помнил еще по Туркестану, где он в чине капитана, служил в штабе округа. Не думаю, чтобы он долго командовал порученной ему Троцким армией; во всяком случае, во время гражданской войны имя его не упоминалось.



Покинув в конце августа Москву и большевиков, в середине сентября я с семьей, через Киев и Одессу, добрался до Крыма, где в Ялте, во дворце Эмира Бухарского нашел свое первое пристанище.

Ялта, как и весь Крым, находилась еще под эгидой немецких оккупантов; царил порядок. Товарищи, топившие еще недавно офицеров в бухте, и бросавшие их живьем в паровозные топки, притаились, ушли в подполье, и жизнь русской эмиграции, в собственном отечестве, била ключем.

В то же время на Кавказе крепла мощь Добровольческой Армии, под командованием генерала Деникина, заменившего убитого летом в Екатеринодаре Корнилова; на сцену выходил Врангель. Начиналась героическая эпопея, и с успехами добровольцев росла надежда на возрождение старой России.

Увы, все оказалось миражем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«РАЗГРОМ БОЛГАРИИ» — 1914

«Débacle Bulgare» — 1914

«КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ВО ИМЯ РОДИНЫ» — 1921

Погибла в воздушной бомбардировке в Берлине.

Склад Издания:

"Le Passé-Militaire".

61, rue Chardon Lagache. Paris 16-e.